

# КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

ВЫПУСК ПЯТЫЙ

MCMXCVI

**КАМЕРА ХРАНЕНИЯ**  
*литературный альманах*



**Kamera khraneniya.** Vypusk pjatyj.

Literary almanach.

Copyright © Authors, 1995.

Copyright © Compound Association "Kamera khraneniya", 1996.

Dmitrij Zah, Breslauer Str. 22, D-60598 Frankfurt am Main, BRD.

Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55,  
Д.М.Закс.

Copyright © Title and Idea of cover design. Oleg Yuryev, 1989.

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced, in any form  
or by any means, without permission.

St. Petersburg — Frankfurt am Main  
MCMXCVI

**Камера хранения.** Выпуск пятый.

Литературный альманах.

Состав © Ассоциация "Камера хранения", 1996.

Dmitrij Zah, Breslauer Str. 22, D-60598 Frankfurt am Main, BRD.

Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55, Д.М.Закс.

© Название и идея оформления. Олег Юрьев, 1989.

Авторские права © на сочинения, помещенные в альманахе, сохраняются  
за авторами этих сочинений. Перепечатка какого-либо текста или  
воспроизведение его любыми другими средствами —  
только с разрешения автора.

Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне  
MCMXCVI

*Редактор выпуска: Д.М. Закс*

Exclusive distribution outside the territory of the former USSR

by Kubon & Sagner Buch Export-Import GmbH

80328 München, BRD

Telefax ++49/89 542 18 218

Исключительное право на распространение издания за пределами бывшего  
СССР принадлежит

Kubon & Sagner Buch Export-Import GmbH

80328 München, BRD

Telefax + +49/89 542 18 218

# КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Выпуск пятый

*Издатели посвящают эту книгу памяти  
Бориса Понизовского*

Санкт-Петербург  
1996



## СОДЕРЖАНИЕ

От издателей ..... 7

### СТИХИ

Сергея Вольфа .....	11
Олега Юрьева .....	17
Ольги Мартыновой .....	22
Валерия Шубинского .....	30
Олега Рогова .....	32
Дмитрия Закса .....	36

### ПРОЗА

<i>Илларион</i> , проза Владимира Губина, (глава из романа «Илларион и Карлик») .....	43
<i>Ифа в скорлупку</i> , рассказ Олега Юрьева .....	70

### ПЕРЕВОДЫ

Аллы Смирновой из Макса Жакоба .....	91
--------------------------------------	----

### БОРИС ПОНИЗОВСКИЙ

<i>...О постмодернистских навыках...</i> , эссе Бориса Понизовского (публ. Г. Викулиной) .....	99
---	----

### XXX ЛЕТ

<i>Из неопубликованных стихов Олега Григорьева</i> .....	109
<i>Из опубликованных стихов Леонида Аронсона</i> .....	112

### ОЧЕРКИ ЗАТОНУВШЕГО МИРА

<i>Сумма прописью или Ненужное зачеркнуть</i> , эссе Алексея Цветкова .....	117
<i>Финикийский хулахуп</i> , проза Вячеслава Белкова .....	129

Содержание альманаха «Камера Хранения», II - V ..... 140



## ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

У Бориса Понизовского был открытый дом, открытый театр, открытый способ игры с людьми. Он нас не перебирал, мы ему годились всякие. Но у него была закрытая жизнь — в самой открытости своей непроницаемая, как золотой шар.

Или всё же проницаемая? Недели за две до смерти он сказал в случайном телефонном разговоре: *Я устал жить с дураками.* Это было не зло — это было устало.

Наша книга не о Борисе Понизовском, и с ним — с его жизнью и с его смертью — она не то что бы и связана, если вычесть крошечное эссе, которое мы бы напечатали и без такого печального повода. И еще — в разделе «XXX ЛЕТ» — несколько стихотворений двух им пожизненно любимых и с ним прижизненно друживших поэтов. Остальные тексты и большинство авторов к нему не имеют (да и не должны иметь) почти никакого прямого отношения.

Эта книга для Бориса Понизовского — от нас, от ее издателей. Она посвящается ему, как, бывает, посвящается стихотворение — не своим смыслом, но своим фактом, как внутреннее (не для него, для себя) подтверждение тому, что мы, нижеподписавшиеся, все вместе — и каждый из нас по отдельности — думаем о нем, и не перестанем о нем думать. Но попытаемся хотя бы сейчас не приставать к нему с дурацкими разговорами.





---

---

*Сергей Вольф*  
*Олег Юрьев*  
*Ольга Мартинова*  
*Валерий Шубинский*  
*Олег Rogov*  
*Дмитрий Закс*

---

---

**СТИХИ**



## Сергей Вольф

\* \* \*

И если голубь проскрипел  
Пером и клювом,  
И если пеликан пропел  
С лицом утрюмым,  
И если лошадь вышла в луг,  
Луной скривленный,  
И сделался щемящим звук  
И воспаленным,  
То  
Выбрать бритву или шкот  
И крюк построже  
Иль выпустить стихов блокнот —  
Одно и то же! —  
Себяубийства всякий род  
Так одинаков,  
Что лишь безумцам предстает  
Сном разных знаков.

\* \* \*

Ах, шалунишка! Ох, шалунишка! У-у, шалунишка!  
Где твое ушко? Гудок-простушка? Растай, манишка!

Зачем чулочек закатан в шину возле подъема?  
Ведь этот прочерк смешит мужчину после подъема.

Скатай-ка шинку! Сотри манишку! Смени свой крестик!  
Накапай джину — себе в тычинку — а мне на пестик.

Их опьяненье — быка арена во рвах для скачек,  
Осемененье — лишь дрожь колена от вялых спячек.

Так зачинают всех чад желанных божки отелей,  
Так слишком страстных или жеманных лишают целей.

И быть спокойным, сдержавши спазмы, велит нам Будда,  
Дабы достойно из протоплазмы явилось чудо.

\* \* \*

И, проломив кристалл, я вышел в поле  
Наклонное. За ним бродил туман.  
Две бабочки кружились на просторе,  
Меня карнавал на караван.  
То деловой полет, а то кокетство  
Изображали, пятнами маша, —  
Зигзаг, напоминавший в детстве бегство  
Через кусты — в безумье шалаша.  
На замутненном зеркале тумана  
Кружились их пушистые тела,  
И облачко пыльцы — святая манна —  
Ложилось на меня из-под крыла.  
И в сдвоенном тумане шаг за шагом  
Я преодолевал тупой наклон,  
Себя чужим дублируя зигзагом,  
Стремился к шалашу как на поклон.  
Он был невидим и, однако, рядом, —  
Лишь руки протяни и упади,  
Но я пытался искаженным взглядом  
Его чертог нащупать впереди.  
И путь мой без оглядки и без смысла  
В беспамятстве не ощущал земли,  
И облако промятое нависло,  
И старика две бабочки вели.

\* \* \*

*Тоне Козловой*

В кисельных зыбких берегах,  
В молочных лужах  
Глядел я схватки черепах,  
Бои верблюжьи,  
Как крался саблезубый кот  
За цаплей пегой,  
А солнце плыло полный год  
И ныло негой,  
И над смещением песка  
Дрожала пленка,  
Как будто ластилось слегка  
Крыло цъшленка...  
И шел за сгибом караван,  
И барсы крались,  
А я лежал — лицом в диван,  
А вы смеялись.

Так протекал который день,  
Все было пусто,  
И только тающая тень  
Легла без хруста.

\* \* \*

Почти неотделим от ели,  
Стою в ночи.  
Две птицы, резко крикнув, сели,  
А ты — молчи.  
О господи! Огонь крадется.  
Ан нет — погас.  
А вдруг вновь вспыхнет и сойдется

У самых глаз?  
Начнет куражиться, метаться  
Как заводной,  
Чем ни забредишь.., — может статься  
С ним и со мной.  
Вдруг полоснет, зрачки спаяя,  
Наотмашь, враз,  
И змейка, хвостиком виляя,  
Прожметя в глаз,  
Она ли, червячок невзрачный  
Заныл в груди, —  
Наряд, воистину не брачный,  
Ждет впереди,  
И лишь твой голос воскрешенный  
Шепнет во сне:  
«Нет-нет, ты не умалишенный.  
«Прижмись ко мне.»

\* \* \*

Гляжу на потолок —  
Там пятнышко мечты  
И кочет поволок  
Упавшего в цветы.

На потолке — зима.  
Белó, и серый снег,  
И лед, и ты сама,  
И блеск закрытых век.

Под потолком — кровать,  
Сухарик и атлас.  
Сухарик мне — жевать,  
Или как пулей — в глаз.

\* \* \*

*дочери Лене*

Презентум неба — тонкий переплет,  
Где сумма знаков кратко излагает,  
Что́ есть, по сути дела, перелет,  
И он бессмыслен, или помогает.  
Что́ есть крыло из кружева костей  
И что́ есть взмах, а что́ — недвижны крылья?  
(Сравнение ладоней и горстей  
И воздуха — пустот и избылья).  
Что́ даст крылу горячая струя?  
Не лучше ль антиподка ледяная?  
Что́ есть в миру беспомощность ружья?  
И что́ оно, — когда судьба иная?  
Соотношенье выбора с судьбой,  
Стремления души — с предначертаньем.  
Что́ лучше — воздух строго голубой  
Или с иным словесным сочетаньем?  
Как сладостен прочтения полет,  
Разгадывание небесных знаков,  
И как душа под перьями поет,  
Всё выплакав и всё же вновь заплакав.  
Вертит зеро, вся выгнувшись, Земля,  
Всё удаляясь и всё умаляясь.  
Небесные потоки шевеля,  
Лежит крыло, другому умиляясь.  
Как жаль бросать этажную нору,  
Сердечко закудахтало от боли,  
Но в поднебесьи — не в замшелом поле —  
Благие слезы гаснут на ветру.



\* \* \*

В том году, в том чаду, в том саду,  
где гремят наковальни,  
Я гляжу, я сижу, я читаю  
листочек из пепла.  
Не сужу, не ряжу... —  
что быть может смешней и похвальней? —  
Червячком выползать из понюшки, из вьюшки,  
из пекла?  
В том саду, в том пруду, в том чаду  
мы ловили креветок.  
Суп из них нехорош, но они —  
есть прелюдия пива.  
Мы вползали в шатер, и костер  
из сиреневых веток  
Кое-как освещал  
залетевшую мошку игриво.  
В тех сабо, в том кашпо, в том жабо  
пребывать неуместно,  
В том году, в том пруду, в том чаду  
кое-что прояснилось,  
И скользит по откосу  
в пеньюаре раскосом невеста,  
А ведь год не прошел,  
как она обнаженной мне снилась.  
Той пальбой, той бедой, той судьбой  
я слегка недоволен,  
Если жаба летала, то пусть  
и летает, и квохчет,  
Мне ж придется трезветь.  
Если я несвободен, то волен  
Год глазеть на восход,  
ну а он распалаться не хочет.

## Олег Юрьев

\* \* \*

Б.П.

Всё из каменного пара, всё из ртутного стекла...

Нерушимое упало, пылью музыка всплыла, вся  
из дышащего тела, из эфирных кристаллид — вся  
свернулась и истлела, только музыка стоит, вся  
из тучного металла, вся  
из выпуклого гла...

...Содрогнулась и упала, только музыка — ла-ла

*июнь 1995*

### ЗИМА 1994

Зима желта в фонарных выменах,  
В реке черна и в облаках лилова,  
А лошадь с бородою, как монах,  
И царь в ватинной маске змеелова  
Устало зеленеют из-под дыр  
Обношенной до дыр кольчужной сети.

Всплывает по реке поддонный дым.  
Ему навстречу дышат в стёкла дети.  
И женщины, румяные с тоски,  
В стрельчатых шубах и платках как замок  
Бегут от закипающих такси  
И заплывающих каблучных ямок,  
Где шелестит бескровно серый прах

И искрами вскрывается на взрыве.  
Там в порах смерть, там порох на ветрах,  
И ржавые усы в придонной рыбе,  
Там встала ночь немея на коньки,  
И — собственных еще темнее тэней —  
Засвеченные зданья вдоль реки  
С тетрадами своих столпотворений  
Парят над балюстрадой меловой,  
Где, скрючась под какую-то коробкой,  
Безумный Волк с облезлой головой  
И белой оттопыренной бородкой  
Идет.

### ИЕРИХОНСКАЯ ОДА

Жидкое железо пили, торопясь.

На слоях разреза костенела стесь.

На следах зализа торфенела слизь.

Роза зеленела, сделана не здесь.

Прозвенел о свойском камешек в висок.

Каменные дяди выли позади.

Мы ползем за войском в глиняный песок.

Дужный крест у суки вырезан в груди.

Как замолкли трубы, выросла стена.  
Зачерствели хлебы в плоских очагах.  
На манер залупы выползла луна.  
Заклепались skleпы там, на берегах.

Ветви подымали боги на холму.  
Опускали руки тени на горе.  
Выплюнуть и рта нет лунную халву.  
Никогда не встанет солнце на заре.

\* \* \*

Босой еврейский лес на выщербленных скалах  
Сквозится впереди, куда не сторонись.

Что бы ни значилось на картах и на шкалах,  
И в скоротечных полушариях страниц,  
Всегда насквозь и вкось заматывают кокон  
— Вóлос за волосом закат, ко стыку стык — :

Тускнея, катится волна стекловолокон,  
На срезе розовых, на сгибе золотых,  
А вслед за нею тьма идет по Галилее,  
— Как бы внутри волнистого стекла —

В отлогах пурпурней, в подъемах зеленее,  
И в черном озере, как косточка, светла.

\* \* \*

Во мгле хрипят червивые цыгане,  
И нашатырно пахнет от мездры.  
Заросшими веревкой утюгами  
Переступают мертвые одры.  
Трещат огни холерного обоза,  
Визжит петух в селении на дне.

Не та дорога, и не эта роза  
— Не от меня. Не я. И не ко мне —

По узким кромкам складчатого мрака,  
Под уголки обугленных ворот  
Кружат коней цыганка и собака —  
Всегда навверх и никогда вперед.

Мне табаку до осени не хватит.  
Я не хочу их сладкого вина.

Альфонс ложится под короткий катет.  
— Не та дорога — И не та луна —

## ДАЧНАЯ БАЛЛАДА

Во тьму на кормленье был сослан  
Боярышник, мокрый до слез.  
Метелки сиренные с ним прискакали  
И смород полупесьих полки.  
Было стыдно берёзовским соснам  
Перед сходом сосновских берез,  
Что их детки, луны нализавшись, икали  
И высовывали языки.

В России нету места страшнее, чем дача,  
В июле, в двенадцать часов,  
Когда на шоссе высвещаются сети  
К отлову опальных машин,  
И падает сердце от подколодного квача  
И умолчного пения сов,  
И всё плачут и плачут какие-то дети,  
И капает капля в кувшин.

### ВИДЫ НА НОЧЬ 25.12.1994

В польше и дальше, там, где поезд загашенный едет  
И в воронках фонарных стоит кристаллический чад,  
На перронах, истертых до глянца, кто дышит, кто лаает,  
кто бредит,  
Кто прозекторским светом отсиняет себе китайчат, —  
Лишь казенные снежные бабы с флажками, По имени Эдит,  
Время бочками вешают и в лицо тепловозу молчат.

В льеже и ниже, там, где пляшут базарные сети,  
Заспиртовано в каждом окошке ночное кино,  
Дождь висит полосатый сквозь ячейки в химическом свете;  
На косых перекрестках затекает брусчатое дно.  
Уплывают по черным шоссе — По сверкающим — спящие дети  
в колыбельках стеклянных, Где между лучами темно.

В небе и выше, где луна на бессветной равнине  
облаков Зеленеет, сжижается и протекает к земле,  
Самолет неподвижный лежит на запаханной гнили и глине;  
Поджидая смещения сфер, спит пилот на рогатом руле.  
И босыми крыльями звенящими твердь толкают по льдине  
вереницей светящейся ангелы, Исчезая за поворотом во мгле.

## *Ольга Мартынова*

\* \* \*

Что ветер за окном бубнит?  
Что пел сто лет назад?  
Как толстый лед над озерцом,  
Так жизнь вокруг стоит.  
То девочка с испуганным лицом  
Продышит маленькую лунку на окне,  
То память толстая шевелится в луне,  
Приманку ищет ртом, одышливым, брюзгливым.

...каждая женщина, выходящая из воды, — Венера,  
Даже если она старуха или ребенок.  
В каждом парке деревья стоят, как сестры,  
даже если это дубы; Дриады поют, спросонок  
забывая об осторожности, меняя регистры;  
Ранним утром ходят поздние боги, проверяя свои реестры,  
По дорожкам любого пыльного или пышного сквера.

Мир отдан женщинам, как намекал один русский писатель.  
Они хлопотливы, любопытны и небрезгливы.  
Любопытны, хоть все кажется смутно знакомым,  
Даже страх, даже высокое небо. Торопливы,  
Хоть знают, к чему спешат. Стрекоза  
Только делает вид, что удивленно таращит глаза.

Сова, когда она летит по ночному лесу,  
Забывает, что знала, сидя в дупле.  
И тогда лунный свет, отраженный в древесной смоле,  
Ей кажется золотом. Возвращаясь в дупло,  
Она забывает полет. Ей сонно, тепло. Они забывчивы.

...Ветер бубнит, ему все равно,  
Что здесь за сто лет до него звучало  
Поэтому его тело устранено,  
Он весь состоит из одного звучала.

Что ветер за окном поет?

\* \* \*

У меня есть четыре подруги, четыре времени года.  
Играть с другими то ли скучно мне, то ли страшно,  
а то ли стыдно.

Иногда я люблю больше всех зиму. Ее почти что не видно  
за свободными белыми платьями. Иногда я рада,  
Что одна уходит, чтобы пришла другая.  
В сущности, больше всего мне нравятся их подарки:  
Дым над крышами, по колено в воде стоящие арки,  
Вышивка ласточки шелковая, дорогая...

Наискосок летит путаный почерк природы,  
Пущенная в никуда стрела звенит, баюкая ли, угрожая...  
*Мужайся, сердце...*, а дальше я не хочу помнить.  
Толпятся годы.  
Природа творит по памяти умножая.

Сонные летние вечера, длинные тени.  
Осени холодящее солнце, как вином обрызганные платаны.  
Черная грязь невской зимы. Ледяные ступени,  
Ведущие в никуда.  
Весны набухшие вены.  
Вот и все, что память хранит в обертке своей шершавой.

Да еще некоторые дома над Невой, над Влтавой.



Там в глубине само по себе на цыпочках ходит кино.  
 Белые корни шевелятся в черной земле.  
 Тускло блестят доспехи, кости, какие-то железяки и стёкла,  
 Чья-то жизнь, что здесь, наверху, уже стерта,  
 Как монетка блеснула и в узкую щель провалилась, —  
 Заполняет собою экран.  
 Двигается лента, в зрительном зале пусто, а не только черно,  
 Геката лежит отвернувшись в мягкой золе.  
 Двигается лента. Здесь, наверху, туман.  
 Утром все парки обернуты в мягкую морось.  
 Шаркая, заполняет зал все, что не стерлось:  
 Сначала мусорщики, бегуны и терьеры,  
 Потом серолицые женщины и мужчины,  
 Потом все возрасты, все цвета и размеры —  
 Все покорны любви, все цветут, все молоды и незнакомы.  
 Двигается лента. Каштан, как пожилой баритон,  
 Смотрит вверх подведенными белым глазами.  
 Там, высоко, сквозь линияль картон  
 Проступает чаша весов с настоящими небесами.  
 В ней ветер поет свою песню, выдувая с нажимом  
 Через все пустоты. И не трудно: там всё пустоты.  
 Там расставлены серолицым женщинам и мужчинам  
 Сквозные длинные лестницы и черно-белые пулеметы.  
 Крутится лента. Все полые трубочки мира  
 Крутятся вместе — самоходные глухонемые бобины.  
 Здесь, наверху, уже вечер. В серых парках все так же сыро.  
 В желтом вечернем свете переминаются женщины и мужчины.  
 В другой чаше без просьбу спит Геката...  
 Платан, как тенор — стоит, опустил все ладони,  
 Смотрит вниз и в угол, как его учили когда-то.  
 Крутится лента. Обрывается. В зрительном зале волнение.  
 Пропал кусок. Мы не увидели, кто на троне.  
 Сеанс начинается, белые корни приходят в движение.

## БУКВЫ КНИГИ ТВОЕЙ

Буквы книги Твоей щетинисты и непонятны.  
Дождь перелистывает страницы.  
Какие-то пятна  
Мешают всмотреться в слова.  
Зимний запах корицы  
Летает над снегом бумаги  
И болит голова.

Чтобы что-то прочесть из нее, надо долго смотреть  
на картинки,  
Головоломки, вклейки,  
Переворачивать воздух, как ворох прогнившего платья.  
И всё равно  
Буквы книги Твоей слетаются в стайки  
И улетают. Страницы звенят как льдинки. Но

Запах старой бумаги стоек,  
А буквы книги Твоей непонятны, как будто сердиты,  
Корень ученья горек,  
Плоды его ядовиты.  
Черный дрозд прилетел,  
Перевел, просвистел:  
— Когда радости лета наскучат тебе,  
Ты не полюбишь зимы...

Когда распускается дуло невидимой тьмы,  
Буквы книги Твоей начинают тускло светиться, как  
окна в полночных залах,  
А чтобы не было страшно,  
Перелистываются страницы.  
И дождь идет, как всегда, сюда,  
Останавливаясь у границы.

## ПОДЛИННЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ НОЧИ

### 1

Выходит дождь из-за угла  
Сутулым шагом хулигана,  
Ночь, необута и светла,  
Достала из кармана  
луну И встала возле вяза —  
Взволнована и одноглаза.  
В ее широких рукавах  
Хлопушки, шелесты и хрусты,  
И погремушки с тишиной:  
Сейчас она швырнет одной  
рукою Страх.  
— Каштаны уронят каштаны —  
Тогда она другой рукой  
Рассыпет по дворам покой  
— Отправятся спать хулиганы.  
Бессмысленно и торопливо  
Сворачивает ночь свои труды,  
Сегодня дождь ее дружок,  
Его лицо червиво.  
Она, над ним прищурясь и склонясь  
Подбитым отраженным глазом,  
Глядит, как он заснул под вязом.  
Мне страшно: вдруг ей скучно стало —  
Тогда бы утро не настало.

### 2

Небритым сном забылся злой чечен.  
Заснет и русский, лишь танку задаст овса.  
Казак ехидный  
Печь затопил и в теплую постель  
улегся. Ночь заводит карусель  
В расстрелянном курпарке для себя самой.

Она зимой  
Страшней и тише. Равнодушный снег  
Спускается к ее пустынному подолу.  
И тихий свист в ночи неразличим.  
Она скучает по ночной метели.  
А время едет без билета на скрипучей карусели.

### 3

«Топ-топ» — по кромке тротуара,  
Под бутафорской стеной «тук-тук»,  
На дне последнего пожара  
Последним канет этот звук.  
Так будет города обуглено лицо,  
Что только каблучков ночных биенье  
Из-под нахлынувших кустарников и трав  
пробьется (как нездешнее растение,  
Сухими пальцами булыжник разодрав).  
Хоть некому (когда и города не будет)  
Встать и пойти за лунной нитью следом,  
Чтоб оборвать ее потóm,  
Лишь спящей туфельки коснувшись на прощанье взглядом,  
Уйти с своей котом-  
кой дальше...  
Тогда — «шлеп-шлеп» — по теплой грязи  
Она на площадь бывшую придет,  
И бросит сено шкуре минотавра,  
И волосы со лба убого отведет,  
И станет ждать. Его лица  
Не видно ей из-под венца.  
Лишь месяц с узким ножиком в кармане  
Потщится осветить ее (его?) в последнем (ли?) тумане.

### 4

Не замечая биения страха,  
Ступает по лужам. Рубаха

расстегнута, Кóсы  
распущены.  
Скоро проснутся осы,  
Но она знакома не с ними,  
А с мотыльками ночными,  
Да и тех не знает в лицо.  
Ночь быстрее проходит, чем наступает,  
И, оскорбляя слух,  
Поет холостой петух.  
В земле шевелятся корни,  
Молнии в речке блещут,  
В небе смеются русалки,  
Их плавники трещат.

\* \* \*

Глина речи в начале была молоком,  
медом, воздухом. В луче пылинки висели.  
Мир был невесом. Как на карусели  
можно было объехать бумажные дали:  
Три ключа, Старинную башню, Теснину Дарьяла,  
Хóлмы Грузии; Ласточки шумно сновали  
в прорехах вечернего неба. Стояла  
вечная осень. Мир был прозрачнобагрян и знаком,  
и уютен, как конфета под языком.

Уплотняется мир, усиливается притяженье.  
Пыль оседает, скатывается в шарики, вытягивается в  
паутину.

Дрожат колени от ласточкиного скольженья.  
Чтобы сыскать ту башню, надо ее отстроить, размять  
эту глину,  
(наследники бросили дом, чтоб не платить по счетам),  
Глина затвердевает, отпечаток крыла незнаком;  
снег не тает; карусель вращается, но не там

где растут три пальмы и роза лежит в фонтане.  
Конфета теряет вкус — нетающим камешком под языком.

Но мир истончится снова, снова во влажном тумане  
мелькнет холодное лезвие ласточкиного крыла;  
рассыпется искрами пыльный ком;  
На воде в птичьей гаме засвищет бедная флейта твоя,  
глупый Тамино, испугавшийся нарисованного дракона;  
и ручей побежит, огибая Мельницу. Замерзший пруд  
покроют Желтые листья. Глина станет как воздух. Забьют  
Три ключа, неясно о чем говоря,  
чему-то вторя;  
снова осень будет царить всегда, не зная закона и благодати  
И слишком быстро, чтобы это обдумать,  
растает мир, как конфета под языком.

## *Валерий Шубинский*

### Панночка

Того, кто летает, того, кто поет,  
Чья глотка полна непроцеженных йот,  
В чьих жилах от ветхого йода черно,  
Не больно пьянит ветряное вино.

Недаром скакавший на ведьме с Хомой  
Любви предпочел разговорец немой  
Пупырчатых тварей, что в южной ночи  
Топорщат друг в друга усы и лучи.

Ундина вольна, а колдунья мертва,  
Но глупые призраки те же слова  
Гнусаво твердят на языке другом,  
И автор встречается с новым врагом.

Внутри некрошащейся полой луны  
Ни сладкой галушки, ни голой жены,  
Ни виршей, ни вишен, ни пышной земли,  
А только кормлёные нами нули.

Зеленая жизнь, я скажу не греша:  
Ты в рыхлой постели была хороша,  
Но речь о пространствах, где панна Луна  
Бессмертна как ты и как ты зелена.

Невидимых дочек и скользких сынов  
Она зачинает от вздохов и снов.  
Ни крик петуха, ни церковный набат  
Не страшен для ласковых лунных ребят.

## ЗАКРЫВ ТЕТРАДЬ

Вы снова вместе — человек и тень,  
Волна и камень, смерть и смертный страх,  
Текучий сон и затвердевший день,  
Вертялый слизень и трухлявый пень,  
И крысы в норах, и гроза в горах.

Вы снова порознь — лист и тень листа,  
Руда и золото, белена и мед,  
Природы паровая пустота  
И круглый шар без глаз, ушей и рта  
И весь — глядящий глаз, кричащий рот.

Мир снова темен, снова недвижим  
И безвозвратно сведен к веществу.  
Но грех мне называть его чужим:  
Я вместе с ним родился, вместе с ним  
Умру, и вместе с ним не оживу.



## Олег Рогов

\* \* \*

*Михаилу Воробьеву*

Здесь я жив еще — в мокрых провалах дворов,  
телефонных кабинках, на дне слишком низкого неба,  
где, на цыпочки встав, упираешься в хрупкий покров  
по окончании лета.

Если мысли — еврей в рассеянье, — память, Израиль, магнит  
так опилки сожмет — вместо них разрывается сердце,  
и в свистящий зазор меж душою и телом сквозит  
не дыхание смерти —

заживляющий свет, тонкий лучик зеркальной иглы.  
В сердце сладкая боль и покачивается дыханье.  
Если что-то не так, значит, лучшего мы не смогли  
в нашем скорбном старанье.

И тогда, оглядевшись, в себе изумленно скажи:  
это внешний притвор, где свое преломление хлеба,  
и — теряясь уже, — здесь я, жив еще, жив  
среди осеннего неба.

\* \* \*

Брат-вода, ты твердеешь от взглядов моих,  
будешь кровью, как перед исходом,  
чтобы в городе новом проснувшись, омыть  
корни древа теченьем свободным.

Самария-Самара, Тиверия-Тверь,  
видно, райские русла проложены сердцем  
в эту плоть, что скулит, как прирученный зверь,  
если пробует в небо взглядеться.

Брат-вода, здесь ты снег. Оступаясь в туман,  
Я прошу об одном — отнеси после смерти  
отражение мое в золотой Иордан,  
из небесной пробившийся тверди.

\* \* \*

Гость ночной хозяев не застанет,  
над парадным Веспер полыхнет.  
И еще раз мертвыми губами  
«я живу» душа произнесет.

Где ты был? не знаю и не помню.  
Там, где не бывает ничего.  
Только глины слипшиеся комья  
и тростник у сердца моего.

Связаны оборванные нити,  
тянутся, узлами шевеля.  
Выдохнешь — и ты опять в Египте,  
и на вдохе — Красная земля.

Эта жизнь — последнее оружие,  
проклятой смоковницы цветок,  
прячется во внутреннем снаружи,  
смотрит на тебя в дверной глазок.

Ждать — это идти непоправимо  
через сжатый в точку океан,  
и пока еще неразделимы  
глинозем, песок и Ханаан.

\* \* \*

Закономным стереокино  
сыт по горло внутренний Люмьер.  
Мир, словно предсмертное письмо,  
вложен в неотправленный конверт.

Времени слежавшаяся ткань  
на просвет — но лучше не смотреть.  
Плещется сквозь пыльную герань  
мелкой сетью пойманная твердь.  
Тела неоплаченный заем  
вспять разматывает кайнозой,  
и душа, что твой микрорайон,  
высвечена, как перед грозой,

и слова уже с дыханьем врозь.  
Мы достались веку на десерт,  
но алмазный ступится ланцет,  
рассекающий состава ось.

Господи, мне пусто в тесноте,  
посмотри, не выключай, я здесь, —  
потому что в новой темноте  
невесомая осядет взвесь.

\* \* \*

Запойный дождь на сломе октября  
бормочет на своем, уважить просит.  
Работай, сердце! разум не выносит  
ночные вертикальные моря.

Ударница, безумная швея,  
душа моя, куда ж тебя заносит,  
пока распродает частями осень  
негоция «верх-низ и сыновья»?

(Три было сына. Старший паренек  
стал моряком, а самый младший братец —  
ослепший, но продвинутый толмач,  
и он напрасно слов чужих не тратит.  
Один из них остановил челнок.  
Мы встретимся еще, душа, не плачь.)

\* \* \*

*И гад морских подводный ход...*

*А.П.*

— Эти гады, — начнешь, ну а дальше само понесет  
риторической заумью, пасом клубочка Алены  
в мировое пространство, которое пахнет паленым  
человеческим мясом, и все остальное не в счет.

Лучше не продолжать, а споткнуться на первой строке,  
затеряться, как в смерти, в тупых лабиринтах отточий.  
Мне дороже цитата, чем собственный отпечаток в реке  
и в скопленьях воздушных, которые всех нас морочат.

Разбредается жизнь по гостям да по книгам чужим,  
на бухое «ау» отвечает звонок телефона.  
Если в нашей стране установят военный режим,  
мы уедем в деревню и будем читать Ричардсона.

Но бормочешь опять — или кровь, шелестящая вне,  
или адрес размытый на сером прозрачном конверте,  
— знаешь, там, далеко, в жидком море на круглой волне  
эти гады играют и гладкими спинами вертят.

## Дмитрий Закс

\* \* \*

1.

Зря это... Я не об этом просил,  
Да и просил ли вообще...  
Сизые блузы промокших осин  
Стены в казенном плюще,

Город как снятый с чужого плеча,  
Полдень на взрытой горе,  
Вросшая в крошево крыш каланча  
В ржавой зеркальной коре...

Скользких мостов конопатый чугун,  
Дребезг трамвайной кобзы,  
Вывески, блестящие, да скомканный гул  
Второразрядной грозы...

Было б зачем громоздить горизонт,  
Да городить берега...  
Дело-то — мелочь, грошовый резон,  
Мелкой судьбы недолга...

Зря это... Весь этот переполох,  
Этот подержанный лоск  
Ради сплетенья дрожащих молок,  
Горькой мокроты желез,

Косного сна, немоты и стыда,  
Нудной ломоты в крестце,  
Ради в наростах подлобного льда  
Плавающей вспышки в конце...

Зря это... Зря я у этой реки...  
Только в осколках воды  
Видно как сумерки средней руки  
Валят в пивные сады...

---

Скользкая жижа январских дрожжей,  
Ветра козлиный вокал,  
В теплой коросте пустых этажей,  
Замер уснувший квартал...

Черствого времени черствый канун...  
Страшный от скуки жилец...  
Знал бы кому не вернуть — не вернул...  
Знал бы кого — пожалел...

Скудного месяца скудный ущерб...  
Чайник вскипел и остыл...  
Знал бы откуда исчезнуть — исчез...  
Знал бы кого — не простил...

Стынет остывшего чая клико,  
В чашке с отбитой каймой...  
Знал бы, насколько не будет легко  
С этой не сжиться зимой...

Знал бы, насколько не станешь брезглив  
К свальной ее тишине,  
К нищенству зданий, к беспамятству лип,  
К сизому небу в окне...

Знал бы... Когда до фальшивящих фибр,  
До затвердевших хрящей,  
Снюхался с ней за холодный чифирь  
Черствых от скуки вещей —

Тусклых, как снежный, расквашенный мох  
В тающем свете спитом...  
Холодно в доме.. Да горький комок  
В горле... Да, видно, не в том...

---

Это мне? — Да, пожалуй, не нужно  
Скользкой осени, пареной мглы,  
Из тумана копящей жемчужно  
Непахучей фонарной смолы...

Электрички за частью пожарной,  
Плоских крыш, грозового свинца...  
Я серьезно... я больше, пожалуй,  
Не хочу коротать до конца...

Было более, чем... даже слишком...  
Для души, не успевшей ни зги,  
К чьим обмолвкам, оглядкам, ослышкам  
Были меньше, чем нужно, строги.

Ей довольно, ей проще без этих  
Мокрых таинств, обвисших красот,  
Черных речек, в расхристанных сетях,  
Уносящих блестящий песок...

Круглых гор, одноразовых ливней,  
Уходящих, в аллеях сквозя...  
Где как будто не станешь счастливей,  
Потому, что счастливей нельзя...

И не нужно... И больше не стоит  
Запивать эту сладость оском  
Отдающим в узлах аденоид  
Перегретым осенним кваском...

И довольно... И можно не тратить  
Это воздух, и плесень, и шелк,  
Лишь бы скучному гостю потрафить,  
Что к тому же почти что ушел....

## 2.

Знаешь, а может и так сойдет —  
(Мы ведь свои с тобой)  
Малою кровью, слепой душой,  
Краешком, тенорком...

Будем считать, что декабрь студен,  
Что над речной трубой  
Кружится, снежной блестя паршой,  
Гаснувший террикон.

Будем считать, что метель — метель,  
Спящий квартал — квартал,  
Что дотемна замело асфальт,  
И добела — столбы.

Будем считать, что и я хотел,  
Роя ходы кротам,  
Глухо бубня, чтоб не слышать фальшь  
Сношенных струн судьбы,

Всей ледяной немотой в висках,  
Косной подлобной тьмой,  
Всей неуклюжей побежкой строк,  
Всей чепухой черт,

Плохо, ледаще, пускай никак  
Этот не то чтоб мой  
Выполнить легкий, как смерть, урок  
Ставши собой — ничем.





---

---

*Владимир Губин*  
*Олег Юрьев*

---

---

**ПРОЗА**



## Владимир Губин

### ИЛЛАРИОН

#### 1

Очень известная шишка рассказывал.

Я рано вцепился в утопию тьфу-бытия молодыми зубами познания. Вцепившись, я всенаучно статейку сваял обывателю, дескать, обрыдлое «тьфу», под эгидой которого мы загудели сюда напрокат, облапошило нас, охмурило, что будто бы мы генералы природы. Какие же мы генералы, когда человек, удостоенный чина дурак, остается транзитной фигурой пути восвосяси на кладбище?

Статью напечатали в траурной рамке с портретом автора.

Вторая статья была круче — там я зарекся, помру самобытно.

Беспечные жертвы закона свинцовой занозы в аорту, писал я, какие же мы генералы, когда генерал обречен уподобиться тле на цветке, потому что шальную глумливую пулю, попавшую между наростами нашего мяса, никто не способен отхаркнуть обратно в оружие по траектории вылета?

Горькая правда, что все мы заранее смертны, стращал я, делает эту цветочную пыльную-пульную жизнь идиотски бессмысленной жизнью, куда на свои похороны родимся насильственно в ужас убоя за каплю нектара, в оглобли тяжелой поденной работы, в оскомину простенько робкой судьбы, где родившийся будет унижен изъятием из обихода текущего времени, то бишь, он будет однажды никто не по собственной воле.

Нам остается только самоубийство, как единственный выход уверенно распорядиться собой по-хозяйски, — в этом у генерала должна быть эстетика чести, не правда ли?

Сладкая правда.

---

Глава из романа «Илларион и Карлик»

Третьей статьей, где поклялся, что скоро хлестово помру впереди стариков и детей, началась операция непослушания тьфу-бытию. Людишки поверили мне предварительно на слово. Сначала неглупые кум и кума поддержали по-свойски мои постулаты поочередно прыжками в омут. Естественно, прыгали спьяну. Следом и прочие психи народа меня поддержали — кто натошак истыкал иголками вены, впуская наркотик, а кто на веревке за шею расправил отвисшую радикулитную спину. Помнится, некий сподвижник учения, будучи на девяносто процентов огульной соленой водой в организме, публично засох, объявив у себя голодовку протеста на пляже, — ныне внизу моего мавзолея миляга музейно покоится весь искореженный, как ископаемый, словно плебейская мумия вяленой воблы. Другой замечательный наш ученик — артистик. Он ошарашил общественность опытом исчезновения вместе со сценой капеллы на спевке. Бесследно размытый тогда на волне колебания звука, тот Яшка в очко мирового сортира пропал, изойдя на пронзительный тенор. Это слишком искусство. Был Яшка — нет Яшки. Ни праха, ни пепла. Но все-таки детский, давнишний рентгеновский снимок утробы на память о нем обнаружили. Дошлые внуки нашли героично в альбоме потомства гастрит изнутри да прямую кишку наизнанку.

Был Яшка — нет Яшки.

Гастрит и кишка.

Мне самому почему-то везти — не везло.

Мне хамски мешала по-настоящему сгинуть ответственность.

Ответственность автора модной теории, мощной теории, где вновь и вновь открывались отдельные приткие новости, шустрые блески большой выразительной силы, большой глубины, — мне хотелось ее до конца распоясать и густо снабдить афоризмами, чтобы затем эти перлы добра принести философски на суд опаленной толпе читателей.

Правительство забеспокоилось. Ибо людишки, читая меня, разумеется, массово дохли. Народу грозила повальная смертность, и некуда было девать его битые кости, которых у каждого трупа до тысячи штук, а министрам отпущено разума

на размышление меньше наперстка на всех. Они, мыча, думали-думали, всё, что могли, передумали, перемьгали, когда наконец у соседней державы чесоткой на золото наняли кавалерийские части защиты, наметили скудную цель — одного меня саблями вырубить и зацензурировать.

Я вышел и вынес орде на прощание тихое теплое слово напутствия:

— Рубильники! раннюю смерть от удара по лбу принимаю наградой счастливого случая. Мне ваше татаро-колбасное войско — до Гулькина...

Лошади, выслушав, оторопели, заржали, попадали навзничь, а пешие всадники — молча крошили себя палашами.

Так и закончилась эта неравная сеча.

Кстати, министрам отставка была на сей раз обеспечена. Взял я, конечно, верховную власть и не первое красное лето хожу в аксельбантах, а кто такой Гулькин, ей-ей, доселе не знаю. Хочешь, ответствуй мне, чем он известен. Или твои плодородные думы куда-то на поиски вечного духа далеко направлены? Дух — это мистика. Лучше про Гулькина — что за персона.

Тебе наденут аркан, и дух у тебя под овчиной мгновенно покинет обноски трусливого тела. Вот и вся вечность. Или ты не согласен?

Я чую, тебе не по вкусу мое песнословие. Наверняка не по вкусу, да?

Не нравится, может, и моя внешность? А моя власть?

Я только снаружи немного свиреп, а в интиме души — часто писаюсь.

Относительно власти запомни, что хороша тебе всякая власть, если, конечно, располагаешь ею.

Таковы, Карлик, истины, до которых умельцу рукой подать, если, конечно, рука твоя длинная.

## 2

Под государственным флагом, ибо в присутствии флага тускнеет намордник морщинок, Илларион отдыхал у камина,

попирая мозолями костного мозга некую плотскую ткань.

Сызмальства, часто некстати, монарх умилялся пожарам, а далее, позже, по мере накрутки годин и матерого промысла, свой постоянный рабочий досуг он умно коротал у камина, где театр огня.

Перед очками монарха мелькала несметная прорва снующих абстракций контраста, цвели фантазийно гримасами психопатичные виды растений вприпрыжку, смешное — смешило, пылало, текло.

Всю паранойю картин ералаша в камине, пожалуй, не перечислишь и за ночь, имей ты хоть улицу пядей во лбу.

— По службе позвольте? — дежурный костлявый нахал объявился в его кабинете согбенно шутком, опоясанным упряжью для развлечений.

Чулки до коленок и серьги-звоночки в ушах, а на висит ожерелье.

— В чем дело? — заметил нахала монарх исподлобья. — Плохо кормлю?

— Занедужилось...

— Ой-ли! — монарх испытующе ласково щупал нахала глазами. — Лакаешь яичный желток, где зародыш, а зад у тебя — не луна.

— Прибег показать геморроя.

— Когда я тебя примерял, его не было, — напомнил монарх ему процедуру отбора по конкурсу. — Не было?

— Не было, — вспомнил ответный нахал процедуру. — Вот, а теперь я зеленкой помазал.

— А ну, покажи-ка. Поближе к огню.

— Пожалуйста.

— Мда... Не кусается?

— Чешется.

— Пошевели-ка слепой кишкой. Не прошло?

— Нет, еще хуже.

Нахала тошнила такая работа, как эта, но дома — большая семья в ожидании блага и блюда.

Малые дети — с угрозой пустить его по миру...

Слепые сестрицы — с ожогами лишней косметикой...

Седая супруга — с усами...

- Все домочадцы — задиристо нетравоядны...
- Страшно, какую грибницу ты выкрасил! — удивился монарх.
- А вы зачем уезжали?
- Ну, по делам уезжал и приехал.
- А геморрой разболелся, соскучившись.
- Ежели не было ранее, как он, еще ни разу не видясь, успел интересно соскучиться, не понимаю. Ты врешь.
- Учитель, а мы тут отроковицу для вас отловили нагую. Девчонка по небу летала нагая.
- Наверняка диверсантка. Для маскировки нагая. На каком аппарате летала?
- Без аппарата летала зигзагами под облаками сама по себе пуще птахи.
- Не диверсантка?
- Здоровая справная девка. Груды лоснятся по пояс.
- А кроме грудей что?
- Да задница тоже, капроновой сетью насилу поймали.
- Как удалось-то?
- Кому-то, не помню, по хлеборезке пяткой летунья выбила спереди клык, а другому кому-то палец отъела до локтя.
- Не врал бы! Как это палец до локтя?
- Не вру. Мне складно так и не выдумать, а калека родился калекой только с одним указательным пальцем на правой культяпой руке.
- Не густо! На что же рассчитывал он, обалдуй?
- Что на жизнь одного пальца хватит ему.
- В носу ковырять?
- И указывать — тоже.
- А вдруг если что до пяти надо счесть — тогда как?
- О, бездельники!...
- Лодыри, лодыри...
- Ладно, с калекой закончили хохму. Ты дальше докладывай вздор.
- А дальше здесь опять...
- Охотничьи полчища блох отпускали на волю?
- Конечно! По плану, по расписанию, как указано.



— Мда, блохи! Весьма хитроумное средство. Крайне полезное для бичевания масс. А людишки, небось, употели чесаться?

— До бешеной крови.

— Так, так.

— Учитель, а дальше про голую надо докладывать?

— Я ханжа в отношении противоположного пола. Помню, мне в бурсе приснилась одна раскладуха, на ком и попался. Мне женщины снятся к несчастью.

— Они сплошь и рядом приносят несчастье, — согласился нахал. — Я тоже в школе был двоечником и даже хватал единицы.

— То — ты, а то — я! — вспыхнул Илларион. — А то — девка...

— В закрытом бассейне секретно содержится, вынуть ее? — нахал юркнул за дверь гиеной с коротким зеленым хвостом.

### 3

Черная вьюга была перекрашенной ведьмой зимы. Вкривь и вкось ее черные хлопья с утра сотворяли затмение белому свету. День, — это все-таки день, а не будто бы ночь, — изнемогал озираться среди заштрихованных улиц, имеющих общеразмытые контуры вместо домов и неряшливо желтые пятна вблизи фонарей, что как ящеры доверху в язвах.

Осточертевшая всем обезличка во мгле поощряла запои народа.

Карлик, освоив изъяны зимы как удобства ненастья, провел исключительный день аномальных явлений безвыползно под одеялом. Укрытые ноги, кривые придатки ленивого тулова, месили мозолями простыни ложа. Руки навывтяжку вдоль и поверх одеяла поникли ногтями.

Но голова — начиненная мина...

В общем, у Карлика не было зла на бесплодно прожитое время, когда без огорчения вдруг отказался продолжить этюд о любви, признавая, что взятая тема неисчерпаема, невыра-

зима. Поначалу работа писалась успешно вроде бы. Подтягивая поближе запасы слов, он уверенно выкарабкивался к определению сути любви, но куда фиксировал его на бумаге, на бумагу напрашивалось иное понятие сути, не хуже первого, затем — еще третье не хуже. Дойти до конца многослойного смысла, дабы делово разобраться конкретно во всех откровениях, анализируя частности, не было вовсе надежды. В этой системе максимального количества точек отсчета существовала гармония, воспринимаемая которую, воспринимай не частицами, но целиком, а то никогда ничего не поймешь у нее. Любовь — априорное свойство людей. Господь удостоил их избранной чести, доверив обзор Его света.

Можно ли тут обижаться мне, сдуру ворча на текущее время?

Время, когда бытие каждый день убывает и прибавляется...

Время, помимо которого нет измерения жизни, нет эффурии самостояния...

Время, какое не смею хулить и не могу расхотеть, обменивая себя на подножные формы богатства либо на звездистые, но проземные чины для того, чтобы так обрести мне лицо фигуранта...

Время, которое, Господи, Ты на меня столько тратишь...

А может, оно — Твоя, Господи, Четвертая здесь ипостась? Я люблю время.

Размышления Карлика были нарушены дверью — та, кажется, пискнула.

Низом оттуда сюда прошмыгнул сквознячок, а за ним африкански размашисто, на манер ихнего Деда Мороза, нарисовала мужик, облепленный черными хлопьями снега.

Мужик улыбчиво щелкнул хозяина по носу.

— Шутка, — сказал он.

— Это шутка? — Карлик охрип, еще не кричавши.

— Для церемонии — да.

— Вы сумасшедший? — Карлик оборонялся не лучшими фразами.

— Нет, я инженер, я умище, но могу выпить и водки.

— Водка вас, оказывается, привела сюда! Вы, гражданин,

ошиблись адресом. Уверяю.

— Меня сюда привела не водка, а шутка, а водка — не шутка.

— Да не валяйте со мной дурака!...

— Но так образуется всякая честная дружба! — вопил умище, с которого капала нефть или что-то.

— Разве? — Карлик однако ладонью прикрыл ушибленный нос. — Эдак едва ли скоро подружимся.

— Дружище! — вопил этот явно мнимый герой, теряя по комнате грязные брызги.

— Нет, я не желаю, — хорохорился Карлик.

— Оставьте ломаться! — прервал его резко хамье, хватая за плечи скользкими пальцами. — Да, кстати, какой же вы карлик, если по росту значительно выше меня?

— Слышите, что не желаю в одну компанию с вами?

— Глух я, не слышу, — пришелец ощерился на половине улыбки.

— Сядьте, пожалуйста.

— Куда? Сяду.

— Сядьте туда, по другую сторону. Запачкали всё.

— Зато сел уже.

Но прежде чем утвердиться за стол, он икнул и пристроил на гвоздике сбоку дешевую демисезонную шляпу с эмалированной птичкой, поставил в углу суковатый замызганный посох, у коего нижний конец был уже, словно каблук обнищавшего странника, стоптан изрядно.

Карлик за ним наблюдал и сердился, как бык.

Это — проблема, сердился Карлик, это большая проблема несоответствия человека предметам одежды, вещам обихода. Многие люди несчастливы, многие люди неряшливы, люди небрежны в отборе вещей, что в итоге нашей безвкусицы нас искажает. И внешне мы смотримся точно такими, как эти вещи. Сам я тоже не лучше. Навстречу вскочил! А спроси, где штаны, где рубашка?

Наверняка незнакомец душой не пижон юбилея. Наверняка незнакомец имеет обычные равные шансы на понимание, но примитивная плоская птичка, наседка на шляпе, настырно противится пользе. Палка в углу коренасто противится тоже.

Никчемные вещи сугобо вредят основной репутации. Да что вещи? Преградой взаимосогласию было рябое лицо незнакомца — мыши, наверное, грызли.

Карлику долго казалось ужасно плохим освещением комнаты, что затрудняло рассматривать это лицо-муравейник искоса.

Нет, освещение как освещение.

— Два года тому ваш голос определенно по радио был, — вспомнил Карлик.

— Успокойтесь, я не вещал. Я генеральный конструктор машин, а не разный задрипанный вождь охламонов. Я поэт индустрии, понятно? Число моих детищ учесть не берется никто.

— Много придумано?

— Придумано много, задумано — больше.

— Хотелось бы знать ваше имя, — польстил ему Карлик.

— Я Процент. Это меня родной брат окрестил изуверски Процентом, он и вещал, а сам я тогда за свои детища прел и томился на каторге.

— Важные, должно быть, устройства, коли за них упекают.

— Они — техника горизонтальных уровней. Правда, не брезгаю и вертикалями в столбик.

— А ваши машины военные или для быта? Какое у них назначение?

— У них интересно крутить колесики.

Гость продолжал разговор уже на кушетке, куда самовольно забрался в обуви. Собственно, как продолжал разговор? Говорил он один и взახлеб торопился напористо, будто бы наперегонки сам с собой.

Карлик изредка со своей стороны все-таки впихивал ему в это реченье короткие реплики либо вопросы, требуя подробностей.

Гость отрекомендовался брательником Иллариона. Действительно, вот интонация голоса вроде бы та же самая. Конечно, конечно, такой же фальцет у главы государства. Но гость был извительно тощ и разительно жалок, а братец его на портретах был славно пузаст. У гостя на буром лице после

оспы ничто не растет, а ланиты монарха сияли музыкой! Непутевого брата монарх унижал издевками постоянно, тот это терпел. Однажды монарх углядел обстановку непослушания — рябой самолично жрет ужин. И впредь уже велено было харчи, как оброк, отдавать, ублажая собаку, посредством которой братья здоровались. Эта собака служила секретарем у монарха. Затюканный брат заходил в кабинет, отдавая монарху салют, а собаке — паек. Если монарх изволит ответить исчадью кивком козырька на салют, отзывчивый пес, озирая вошедшее, протягивал умную лапу для рукопожатия. Когда же монарх отчего-либо помедлит изгою кивнуть, пес уже не подаст ему лапу, нахмурится. «Не возражаешь, это Процент называется? — заметил однажды собаке монарх относительно брата. — Нулики видишь на роже? Черточки диагональные, видишь? Отсюда подсказка на кличку. Впрямь он какой-то процент одиночества математической функции века. Лохматые пять ему дай на прощание в ухо. Пусть убирается нужник». Увидев однажды машины Процента, монарх обострился вниманием и тронул одно колесо на поверку. Тут у него началась истерика, потому что другие колеса, как от щекотки, все завертелись, и власти монарха никто не боялся. Монарх убежал. Он, обомлев, онемел. Ему не давала покоя загадка. Детали машин увязаны цепко — фигура вплотную примкнута к фигуре, но стоит одну повернуть, и начнется верчение гонора выше тебя. Послал за Процентом ученую псину. «Колесник и нужник Процент, — рек монарх, — нам, ураган поломай твою спину, смешно, почему не спросился указа? Я дал бы указ приспособить колеса бить холки, но без указа нам они — крамола». Мне что надо сделать? — испугался младший брат. «А покайся, покайся, дескать Илларион, у меня ты в груди». Ил-л-л-ари-он! — повторил Процент, став зайкой. «Смелее! Где находишься у тебя, не в затылке? Нет?» Илла-ри-он!... «Продолжай, продолжай, что споткнулся?»... Т-ты... «Делай ноги словам»... у меня в груди, в гру-ди... «Вот и спасибо, чума. Поладили»... Ты у меня в груди торчишь, как нож! — отчеканил затюканный брат, перестав заикаться. Процента связали цепями и по суду опечатали между лопаток на острова. В опечатанном офи-

циально виде Проценту нельзя было скоро ходить или руками распугивать мух. Особенно — чтобы не вздумал настроить вертушек. Илларион подсылал к нему согладатаев — а не бастует ли там главный зек? Он, говорят, не бастует. Илларион объявил амнистию. Процент воротился к своим машинам, которые без присмотра тихо ржавели. Ныне машины монарху нужны для охмурения дамы.

— Вашу сестру охмуряет, — объяснил Карлику гость.

— Помезану? — Карлик ослышался.

Качая на стуле, кто-то лишил его центра тяжести.

— Львица-девица ваша сестрица! — восхищался Процент, улыбаясь.

— Я думал, она улетела, — Карлик искал оправдания, хотя никакой вины за ним не было. — Думал, она там уже, на песках у Жемчужного моря...

— Погода нелетная, — Процент отвернулся в окно. — Вон изморось, изморось.

— С ума сойти! — Карлик бессмысленно следом тоже взглянул в окно, за которым, как черный лес, ворочался черный снег. — Умру сейчас.

— Этого делать однако не следует. Это как же с ума? Как же вас умереть угораздит? Я с вами не подстригался на смерть.

— Она любит его? Любит она?

— Полноте, кто может его любить? Она — подневольная, пленная там.

— Иду за ней. Вы поможете к Иллариону проникнуть?

— Остыньте, не помогу.

— Вы мне друг или черт?

— Я комиссия.

— Кто-о?

— Комиссия, чтобы предотвратить эту вашу затею. Простите меня за щелчок, я не знаю другого секрета знакомств, я лишне застенчив... И кажется переборщил...

— Иду, — суетился Карлик. — Я думал, она улетела...

В смятении, часто блефуя, надеясь на что-то другое, чему повинуются случай, наивные люди готовы принять на себя любой грех или груз, или страх обстоятельств, и хитростью переиначить события задним числом по-своему.

— Нет. Угодите в заложники. Вас акурат ожидают. А Помезана покудова держится, не поддается, ваше помощь ей не нужна.

— Держится? Где гарантия, что выдержит?

— Она великая женщина!... Великие женщины строго блюдут свою честь в своих детях и не рожают кого попало от кого попало, чтобы не засорять человечество нечестивцами, нелюдь. Но вас она в жертву не принесет и согласится, пожалуй, на всё. Недурной план у меня назревает, как ее вызволить...

— Какой? — спросил Карлик о плане Процента, превозмогая боль в горле.

Не дождавшись ответа, Карлик упал — провалился рывками вовнутрь себя и не помнит, когда ушел гость.

#### 4

— Бабасик, имя твое подскажи мне, — кудахтал ей тихо монарх.

Она, между тем, обняла свою голую грудь, обняла хорошо — словно голую двойню.

— Сукочка, слушайся батьку-руля! — возмутился нахал.

— Это кто сукочка? Кто? Моя фея, по твоему, сукочка? Да я тебе на нее... Я тебя... Я тебя за нее... Я тебя за нее при ней выпорю по геморрою, хочешь?...

— Еще чего! Не тронь, а то пяткой по челюсти вмажу!...

Стремглав она вскочила на стол и приготовилась выполнить обещание.

— Да хрен с ним, пусть прозябает, — раздобрился Илларион. — Имя-то как?

Ее нагота сокрушила решительность Иллариона.

Желанию враз обнаружить у пленницы тайну подмышечных ямок отчасти застенчиво противоречили грязные руки монарха.

С утра не помыл их опробовать юную фею на ощупь.

— Имя? Помезаной меня сокращенно зовут. А тебя?

— Сокращенно меня? Дай припомню. Наверное, Ладик. Я Ладик...

— Я Помезана.

Монарха снедали сомнения...

Будь она барынькой в юбке...

Можно к афере принудить ее, когда в юбке, затем обменять на фамильный мундштук у соседнего шаха, шах обольется слезами зависти, какой благородный стоит у меня беспорядок в богатстве, — но голую... голую... голую, как очищенная картошка... голую жалко.

Не след отдавать ее так иноверцу шутя за бесценок...

Пусть у слюнявого лопнет от зависти зоб...

— Имячко, феечка, полностью все напиши на бумажечке, — монарх изрекал эти звуки не сам, а ловил и вылизывал их извне, чтобы не задохнуться, не подавиться молчанием.

Голос его и слова...

Как осенний морозный шумок на ветру...

Несмотря на прямой незатейливый сказ, имели другую текстуру, чем обыкновенная просьба.

Грудь и пузцо, и лицо Памезаны были приспущены, низко приближены к отполированной глади столешницы, где фея ползком сочиняла шпаргалку монарху, который боялся моргнуть и прошляпить момент откровенности женского тела.

Несколько раз ягодицы меняли свое выражение — то вдруг они чрезвычайно сердито надуются, то лучезарно сожмутся в улыбку.

Монарх отвечал им, естественно, той же значительной мимикой морды.

— Ты что, кобель?

— Я черную розочку сзади понюхать охочусь, — Илларион энергично вильнул ожиревшими ляжками, но застонал от укуса, поскольку сломался внезапно какой-то сухарик у копчика.

Фея писала, писала, писала свое бесконечное, как у туземцев, имя.

— Записка готова, — Помезана вручила монарху бумажный листок, а сама свернулась улиткой в охапку на кромке стола. — Теперь отдохну, дедуля.

Впрочем, необязательно, может, на кромке...



Впрочем, необязательно, может в охапку...

Впрочем, у молодежи бывают ужасные позы...

— Спит, извращенная фейка, спит! — удивился нахал. —  
А сама не спросилась указа! Пнуть ее, что ли?

— Кого, психун? — осерчал оскорбленный монарх. —  
Я те пну!...

Пушиной походкой на цыпочках он удалился в обыденный зал отряхнуть онемевшие кончики пальцев и тапочки — тапок о тапок.

Имя зазнобы взывало, пульсируя вслух изнутри помещательства:

— Поцелуй-Меня-За-Ножку!... Поцелуй-Меня-За-Нож-ку!...

Во-первых, оно необъятно по дружески близкое вчетверо:

— Поцелуй-Меня-За-Ножку!...

Во-первых, оно безусловно похоже на всё:

— Поцелуй-Меня-За-Ножку!... Мда, конечно... пожалуй-ста...

Во-первых, оно характерным акцентом акустики между словами тождественно лепету раннего детства, наречье которого не таково, как у нас, и поэтому в опусе, где неразумный малыш агитирует облобызать его теплую ножку, нет опечаток.

Иной подтекст имени более женский:

— Целуй меня страстно за длинные стройные ноги, которые любишь.

Иллариону приспичило врезаться в бронзовый щит у противоположной стены.

Щит, имитируя солнце, служил одновременно средством острстки на случай, когда забастуют извилины мозга.

Когда забастуют извилины мозга, тыпнешь искусно башкой по щиту, чтобы мигом очухаться, мигом очухаешься.

Подражая начальству, нахал изворотливо следом атаковал его щит.

— А ты кто, пустозвон? — окрысился монарх. — Убирайся, хозяйку разбудишь.

— Андрюхой зовут, или вы позабыли? Вы давеча, помните, рубль обещали мне?

— Зачем, если на водку? Полтинника много.

— На капитальный ремонт головы.

- Зачем?
- Андрюхой зовут.
- Андрюхой, пузырь анонимный, можно с ухмылкой называть и любого нуля, безразлично кого.

## 5

Голая спящая тварь охмуряла замашками непостоянства — только что внешне была вся такой, как уже вся не та...

Хорошей была, но теперь — еще лучше...

Вся она прежняя вроде бы, но постоянно — другая...

Без остановки в экстазе своей красоты Помезана меняла себя на себя.

Колдуя во сне запредельный секрет обновления.

— Вы со мной, милая, что ни фига не гутарите, фея! — монарх интонацией, полной тоскующей лести, попробовал оповестить о своем интересе. — Давайте жениться....

Помезана губами:

— Неба кусочек осиротел, упала звездочка...

— Наплевать! Эта звезда, полагаю, поссорилась... Она со своей понебесной товаркой поссорилась, и справедливости ради товарка пинком опрокинула наземь ее, полагаю... Давайте жениться....

— Звездочка, звездочка...

— Звездочка — звездочку! Там у небьего мира законы тоже такие... Впрочем, у рыбьего мира не лучше — большая селедка питается малой хамсой. Но, как известно по слухам, у жабьего мира...

— Звездочка, звездочка...

— Вы про какую заплакали, фея? Про ту, что ловчее по части пинков, или вы про другую, которая склочная? Давайте скорее жениться, тогда подарю вам ее как игрушку на свадьбу. Кину на поиски вашей звезды все мужицкое войско. Мундиры ползком оцепят, обшарят овраги... На дне где-нибудь отыщется... Вы что, боитесь жениться?... Лыс я... Но захочу, на моей голове завтра вырастет южная пальма с орехами, будете рвать их...

— Наша семья ищет ножницы! — пели соседи-соседки и стучались в стены плевками. — Мы с обыском.

Карлику было сейчас не до них.

Не проявил интереса он к ним и тогда, когда те пеленали его с головой в одеяло, как вещь в дорогу.

Пригрозив, унесли этот сверток на улицу за поворот.

В холле сидел сенбернар в окружении свиты мелких собачек с медалями, как старичков на полиинформации.

Карлик упал акурат в полуметре от лап сенбернара, вскочил, выскользнул из одеяла вслепую. Хмельные соседи-соседки, похитившие его, бросились, чтобы поставить его перед псом вертикально, готовя товар напоказ в лучшем виде. Соседи-соседки поспешно поправили Карлику воротничок, отряхнули соринку; пес ждал, когда кончат.

Строгий задумчивый взгляд сенбернара в пространство был вовремя понят всей свитой. Лязгая наперегонки медалями за безупречную службу собаки свиты напали на пьяных и подняли хай.

Пьяные люди, нарочно хромая, покинули холл вперемешку друг с другом, а сенбернар, очевидно, довольный таким поворотом событий, бесшумно пропал в боковые стеклянные двери. Туда же за ним, — соблюдая дистанцию на расстоянии запаха шефа, — помчались другие собаки. Карлик остался один. Вдруг вошла Помезана.

— Здравствуй! — с первого взгляда Карлик открыл одну важную в ней перемену.

Сестра поразительно похудела, вся как-то уменьшилась, но без ущерба себе. При этом ее худоба придавала простоту ей — не бедность, а женскую детскость. Лицо Памезаны, мускулы, плечи, линии спелого тела теперь обозначены были по-новому более ярко, смелее. Карлик подумал, что хорошо это. Ранее Карлик испытывал к ней сострадание. Ранее муки от уязвимой

публично ее наготы заставляли его подавлять в себе все остальное. И вот уже Карлик был счастлив, а те непонятные прежние чувства уже и не помнил. Сейчас, как-никак, самый близкий по крови, родной для него на земле человек достоверно в уместной своей наготе находился с ним рядом. Карлик еще раз подумал, что все хорошо это. Иначе он сам захотел бы раздеть ее так. После тревог и тоски, после той несравненной тоски, он сам все равно захотел бы раздеть ее так, но, пожалуй, не смог бы на это осмелиться, чтобы ее не обидеть каким-нибудь грубым и ложным намеком, — а значит не смог бы спастись в этот праздник.

Ее нагота была крайне условной. Все то, что естественно и настояще, замаскировано в этой условности. Все то, что, казалось бы, здесь пребывает снаружи на самом виду, это самое-то нас дурачит. Оно, вопреки вероломному здравому смыслу, непознаваемое. Не поддается постичь его полностью. Тайны, лишь их обнаружил, скрываются в большие тайны, которые также скрываются в новые большие тайны, которым не будет конца, покуда она не захочет, чтобы они перестали быть тайнами.

— Здравствуй! — сестра зажмурилась для поцелуя.

Карлик обычно целовал ее всегда в щечку, при этом всегда был готов на попятную в случае надобности, а тут откровенно губами он замер на влажных ее губах и не дрогнул. Она, еще больше зажмурясь, легонько раздвинула губы.

Доселе она никогда не выказывала перед ним своей радости этим особенным способом жмуриться при поцелуе — а знай Карлик раньше про эту ее склонность, он целовал бы ее только в губы и в зубы.

— Слышу, залаяла стервы! — жутко сказал возле них чужой человеческий голос, приплясывая. — Ну, я с первым лаем насторожился, и бац — сюда к вам.

Этот голос возник неожиданно из пустоты. Сам по себе, из ничего он, конечно, возникнуть не мог, и возник изо рта того места, где он до сих пор находился. Этим пристанищем голоса был шут гороховый в тоге римлянина. Сам шут ничего не значил, — был бос и плешив, и босыми ногами приплясывал по полу, точно по снегу, — а нервничал в нем нату-

ральный живой человеческий голос.

Шут заходил то с одной, то с другой стороны поудобнее, чтобы попасть на глаза Помезане.

— Зять, — поклонился шут Карлику.

— Чего прискакал-то? — спросила Помезана.

— Тоже хочу целоваться, — шут скорчил сиротскую рожу заплакать. — Когда мы начнем наше дело?

Карлик не мог определиться, не мог убедить себя, кто перед ним. Особенно Карликом не принимались в Илларионе мальчиговые уши монарха на голове-бульжнике.

Вот так история, — ну и монарх!...

Слезоточивый такой.

— Твой тазик еще там на стенке? — спросила Помезана.

— Щит, вы хотите сказать? — Илларион подбоченился. — Принести?

— Нет, ступай позвони в него головой.

— В щит? — Илларион засеменял в направлении боковых стеклянных дверей, но по дороге туда запутался босыми ногами в одеяле, в котором соседи-соседки похитили давеча Карлика.

— Что за препятствие? Что за проклятие?

— Дай, — приказала ему Помезана. — Мое одеяло.

— Какое же тут одеяло? — монарх поводил подбородком по одеялу. — Хочешь, отолью его нежно из туалетного мыла, но как там получится пуп, обещать не берусь, потому что премудрости много в тончайших извилинах накручено у пови-тухи...

— Не смей утираться моим одеялом, сопливый!...

— Я никогда еще не целовался, а что — хорошо целоваться?

## 8

Сантехник Эн-тик считал себя сыном этого века.

Эн-тик один на один многолетне вел схватку со всей клиентурой.

В своих коммунальных окопах его продажная клиентура

чуждалась визитов полезного специалиста по части водопроводного дела и канализации, — недешево ей обходился этот сантехник, — не дать чаевых ему было нельзя, а давать было жалко. Но Эн-тик умел приставать к населению микрорайона с починкой домашних исправных кранов, унитазов и моек, идейно желая народу добра в окружении этих удобств. Эн-тик требовал страшно высокую мзду за свои трудовые успехи на том основании, что мол не смеет никак огорчать клиентуру намеками на ее нищету, — он возвеличивал вас, когда бил по карману.

Не схватка, а попытка с обеих сторон.

Однажды сантехник Эн-тик оказался вблизи Башни:

— Загляну-ка по профилактике да поживлюсь, чем пошлют...

Башня стояла не запертой. Сантехник пролез в элеваторный узел, помазал техническим жиром штурвалы задвижек для плавного пуска, пошел искать кассу внештатного фонда... На всякий спорный случай, дабы не заартачилась эта касса, сантехник оставил в подвале крошечную протечку пресной воды в трубе отопления. Труба грустно булькала. Ежели касса хорошая, сильная касса, трубу можно будет заткнуть опосля. Ежели в кассе у них одни воры, — пусть их труба остается с дырой под вопросом и назидает.

В игрушечном зале сантехник набрел на старинную свалку скульптурных изделий, сокровищ в чехлах паутины, и списанных, видимо, в бой, как ему показалось. Эн-тик практически наметил изъять себе на комод скульптурку какого-нибудь вождишки без крена. Пусть гости жены, когда придут поглядеть на вождишку, задумаются, видя, что за вождишка. Пусть они скажут, умеет Эн-тик жить, вот и нажил. Хотя, конечно, хорошим гостям будет мала вождишки, числом в одну штуку. В коллекцию надо брать больше вождей, потому — раз такие дела и никто из охраны сейчас не присутствует.

Эн-тик порвал на ближайшей к нему голове паутину, и вдруг на него посмотрели глаза экспоната, неведомо что повествуя...

Два желвака — как замазка. Нет, где как замазка? В глазницах улитки сидели — задвигались обе в ложном движении,

словно бы лезли наружу, но в тоже время пятились вглубь.

— Ах, Карл, это ты или кто? — спросила голова по-женски. — Долго не появлялся...

— Маманя, где у вас касса пособия? — сантехник окаменел. — Они мне треху должны — вот курьез!...

Оживились тогда в паутиновых гнездах и прочие головы, — как пауки, — неумело чихая в сантехника пылью, начали переихихиваться между собой заговорщицки. Эн-тик жалел, что нет палки железной. Без помощи палки немислимо было уйти невредимым отсюда. Вряд ли поверят они просто так и вряд ли отпустят по-доброму. Эн-тик сделал себе надлежаще весьма потерпевшую глупую рожу, вообразил там вполне идиотскую физиономию, какие сейчас наблюдал у вождей, и, не выкручиваясь, встал рядом с ними к стенке, чтобы любимца клозетного поприща находчиво не опознали подольше.

## 9

По ночам на него нападавал адский грохот в груди.

Сердце, стучавшее, как на кузнечном заводе кувалда, мешало монарху заснуть, как дубина какому-нибудь замухрышке.

Вот уж поломаются старые ребры в этом вертепе, боялся монарх.

Или одним из ударов однажды тебя свалит с ног, если вскочишь внезапно вслепую с постели до ветру.

Вполне.

Ты метишь присесть, а тебя — шарнет оземь...

Ни свет ни заря монарх устремлялся во двор, ожидая выхода Помезаны, хотя знал, она спит — и не скоро проспится.

Днем его подлое сердце почти не бузило, но сладко болело.

Днем он, истощенный погоней за феей, мяукал и делал уродские смиренные стойки.

Бывали нелепые сырые позы, когда — кособоко замрет и мяукнет.

Он изводил и преследовал юную жертву кошачьей мольбой без акцента.

Кошачьи сигналы давно заменили монарху простые слова по всему спектру чувств. У кошек иная житуха, думал Илларион о кошках, у них она проще.

Жениться захочешь, и кошка — твоя.

Правда, тут есть аспект — от окаянных одни только мыши за печкой разводятся. Мышей сами кошки разводят, они цену себе набивают и тщатся прослыть у хозяина стражами сала на кухне, где много мышей.

Монарх изменился — не узнавал никого, кроме феи.

Монарх игнорировал «алчные» жалобы подданных или настоящие просьбы людей, не понимая, какого рожна тем еще не хватает.

Он упразднил и приемы сановников, этих обжор и нерях.

А разве мне польза с того, что — диктатор? Один ищачу за всех алкоголиков, и не заслужил себе фею.

## 10

Когда — неизвестно, днем или ночью, созрела компактная мысль улизнуть из объятий страдания.

— Хочешь орден Горбатого третьей степени? — спросил он Андриюху. — Ты, гад, угоди мне! Даю два дня сроку. Пугнешь ее так, как придумаешь сам, только чтобы она затряслась и поверила, дескать, ей крышка...

Монарх не сомневался в Андриюхе, но умышленно не расстрепал ему полностью все, что наметил по замыслу.

Вряд ли тогда Помезана ответит обидой монарху — вряд ли обидой взамен благодарности.

Навяжем ей долг, из которого выхода нет.

В момент, когда нахал Андриюха приступит к работе по напужанию, монарх займет место в укрытии, сядет в резерве. Как только ее пронизает животный страхок, Илларион и появится Ладиком из тайника, чтобы выступить в роли спасителя жизни. В ухо пристрелит нахала. Женская логика создана так, что за каплю нормальной любезности дура готова любому дарить свою ласку, а тут и подавно нельзя отпустить человека-монарха с пустыми руками.



— Куриц и зерен! — сутки спустя потребовал Андрюха.  
— Гонорара тебе? — монарх испытующе нежно разглядывал уши нахала, соображая, какое наметить под выстрел. — Это правильно, без гонорара солдат, как аптека без клизмы. Художества, чувствую, ладишь. Отлично. Склони поощрить свое левое ушко. Дозволь в него выплюнуть слюнку. Слюна накопилась.

## 11

Переодетый во все казенное не по росту, Карлик разгуливал по каземату, куда под амбарный замок он был заперт сосредоточиться.

На лбу начертали порядковый номер для башни.

## 12

Илларион во дворе выбрал порожнюю старую бочку со щелочкой в целях обзора и в целях контроля за ходом пужания. Какой-то забытый философ квартировал в такой бочке бочком и ничком и подавился лошажей ногой, вспомнил, монарх, погружаясь туда. Должно быть, философ, умишком не располагал, коли слопал кобылу, как волк, а такая кобыла сейчас помогла бы мне сделаться всадником, если приспичит на белом коне появиться из бочки.

Когда в свою пользу закончу мороку напрасно страдать от любви, прикажу дать людишкам какой-нибудь отдых, а то замшевели бедняги. Могу Новый год им устроить досрочно. Велю срубить елку веселья, не пожалею закуски, надену свой плащ и свои ордена — пущай меня поздравляют. Но можно без елки. Сам я в орденах недурен впечатлять: весь призывной, а вокруг — хороводы.

Дежурный нахал Андрюха приготовил необходимые приспособления, зачем-то вбил колышки в землю, выпустил из вещевого мешка гадить и вольничать кур во главе с петухом и связал Помезану веревкой крест-накрест. Заткнул кляпом рот ей. Фея сидела в углу двора, непрерывно мотала башкой

в обе стороны сразу. Монарх наблюдал, как Андрюха пинком заставил ее подчиниться, вытянуть обе ноги ровно, когда распинал на колышки, чем ограничивал возможность сопротивления. Слишком часто нахал ее лапает, образумился Илларион. Я бы мог это и сам. А нахал уже достал из кармана горсть риса, насыпал белую горку на черный холмик в конце живота у распятой, разворошил его прутиком и позвал сюда кур во главе с петухом разговеться, цып-цып!... куры пришли и ходили по ней без разбору, — скользя, припадая на крылья. Дежурный нахал им потворствовал рисом. Во гад как придумал сразить! — удивился монарх, обалдевший в засаде. Заместо бритья, мол, потрава. Добра не жалеет куда. Куры выщиплют все, что растет, и совсем оголят. Им — кормушка.

В это время петух, раззадорясь, зашел на нее с той стороны, где, по мнению Иллариона, не положено было присутствовать, зашел и давай раздвигать ее ноги когтистыми сильными лапами, словно мужик. Это как же осмыслить? — не выдержал Илларион. — Кочет лезет добиться, а мы без понятия в бочке философа... Петух продолжал свое гнусное дело, покрякивал что-то натужно, пощелкивал. От зависти к петуху у монарха повысилась температура. Монарх, шевельнувшись, почувствовал нервную дрожь.

Боясь не успеть на шабаш, забывая дышать, монарх вырвался зверем из бочки соления. Илларион лягнул на ходу петуха и нахала, которые сжались и повалились, и сам повалился, пополз.

Долго полз.

Карабкаясь на Помезану, монарх оглянулся воинственно по сторонам.

Кругом вседозволенность блуда.

Монарх вцепился зубами в торчавший у Помезаны во рту мокрый кляп, а руки монарха сдирали с монарха его панталоны, но сгоряча либо сдуру запутались там, как в отсеках подводной лодки, — достать их назад было сложно.

— Скинь, Андрюха, портки! — завопил он о помощи.

Нахал это понял по своему.

Нахал Андрюха спустил до коленок свои голубые трусы в ожидании новой команды.

Для России все равно, как я умру.  
Сам?...  
На войне?...  
Мафиози?...  
Некрофилия.

13

Почудилось, что приближается кто-то без головы.  
Силует человека либо движущего предмета был искажен  
и приплюснен.

Это, небось, удобно — без головы.

Таинственность и продолжалась мгновение, и кончилась  
фарсом, а тот, кто сюда приближался, спрятал для маски-  
ровки лицо за приподнятый с жүзенса локоть, уткнувшись в  
рукав головой, но Карлик узнал в нем Процента.

— Как вы попали ко мне? Прошли напролом капитальную  
стену?

— Зачем портить даже тюремные стенки. Всякий замок  
доброволен передо мной. Я инженер, а не взломщик, не вы-  
думщик и не обманщик.

— Что с Помезаной?

— Ей плохо.

— Да скажите мне что-нибудь толком!...

— А затем и пришел, рискуя. Послушайте спич... Одно из  
моих гениальных устройств создает мешанину любого масшта-  
ба... Перемешать можно все миллиарды... Сам не знал этого.  
Честное слово Процента. ... Придумывал, комбинировал и пе-  
редельывал тысячу раз, потому что хотелось и нравилось, и  
вот, пожалуйста, случай. Вдруг это Быр-быр-перебыр-коропо  
ныне способно состряпать многоступенчатое шароподобие в  
мире. Быр-быр-перебыр-коропо, запомнили?

— Что-о?

— Быр-быр-перебыр-коропо!...

— Вы на каком языке говорите?

— На своем, общем с вами, пока еще вам недоступном... удачно назвал я машину, чей сервис и предлагаю вам... В машине следует лишь повернуть рычажки с интервалом в синхронном значении кода.

— В синхронном значении кода?

— И хода.

— Чушь это.

— Зато машина.

— Быр-быр-перебыр-коропо?

— Быр-быр-перебыр-коропо заставит людей поменяться собой. Вы тогда будете кем-то другим, кто ненароком окажется вами.

— Зачем эта путаница нужна?

— Чтобы спасти вас и спасти Помезану. Вы по Быр-быр-перебыр-коропо не почувствуете, как и когда превратитесь в энную личность, допустим, хотите — в какого-нибудь Тракторенку? В свою очередь я по Быр-быр-перебыр-коропо превращаюсь, например, в Помезану, она превращается в Иллариона, который тогда превращается в вас! А какому-нибудь Тракторенке мы тоже найдем его место, в кого-нибудь сунем, и перемешаем весь мир. А? Как?

— Вы сумасшедший! — не выдержал Карлик. — Это преступно, кощунственно, чтобы заставить сестру быть монархом. О, подлость какая!...

— Сделаю Иллариона из вас! А сам буду вами, а вы Помезаной, которая станет приятно Процентом, — он извлек откуда-то книжечку с карандашом. — Пересчитаем, согласны, я Карлик? А вы Тракторенка какой-нибудь?...

— Быр-быр-перебыр, черт возьми, коропо! — вытолкал Карлик изобретателя взашей.

## 14

А кляп у нее во рту — как приращенный.

Монарх шатал его, дергал зубами, тащил его вверх на себя.

Когда же монарх неожиданно понял, что девушка держит нарочно тот кляп изо всей своей силы, то сам изо всей силы

куснул ее за щеку до крови...

Потом еще раз — уже за бок...

Ел и рыдал, остервенело рыдал от избытка деликатесного ливера...

— Где фейка? — кричал на него Андрюха.

— Какая там Фенька? — монарх озирался по сторонам.

— Сожрали? Сожрали живьем и сырьем!...

— Она сама была рваная... такая рваная...

— Нет!...

— Нет?... Она, может, еще...

— Нет!...

— Образумится бегать...

\* \* \*

...Радуетя купец, прикуп сотворив, и кормчий в отишье привстав, и путник, в отечество свое пришед, тако же радуется и списатель книжек, дошед до конца книги, — так рассуждал мних Лаврентий в пятнадцатом веке.

Дошед до конца своих книжек, многие нынешние писатели тако же радуются получке за эту работу.

Кто просит денег.

Кто — славы.

И токмо мне за мой труд паки и паки не бысть ничего, я подопытный автор. Сотворив эту книжку, не сотворил прикупа. И вот развожу поднебесно руками — неужто живот свой сконча от неядения мяс свиных?

Сам виноват, глаголите вы, рекл бы про то, яко лепо живем.

Виноват, но, пожалуйста, не применяйте во мне своей власти помочь образумиться силой. Про вас напишу на большом правеже опосля — сказ мой буде чудно и не лстыае представлен. Вельми борзко десница писати почнет.

Но дошед до конца сей книжки, цена коей грош, тако же радуюсь иному чрезвычайному случаю, — помнится от сего лба, как в прошлом столетии один очень добрый французский художник сказал мне в наше столетие о своих картинах, что

каждая новая стоимостью пусть даже в десять франков делает на десять франков богаче всю нацию...

И пусть мои дети и внуки, у которых я здесь ничего не украл и не отнял, так же радуются в отечество свое пришед.

## 15

Карлик опомнился — сжал свою голову крепко ладонями и раздавил.

## 16

Всё?

Но, может, кто жив еще.

Может, кому-то еще это надо.

## 17

Я люблю Время.

*Олег Юрьев*

## ИГРА В СКОРЛУПКУ

So war Prag auch längst schon wieder eine wichtige Stelle im gesamtdeutschen Leben geworden, als es dann in der Krise der Republik von 1938-39 schließlich vom Führer in das Großdeutsche Reich heimgeholt wurde, als die Prager Burg, welche in den letzten Jahren fast eine Außenstelle der Komintern geworden wäre, der Schlußstein im Bau der deutschen Einigung und nun wieder der Ort weitreichender politischer Aufbautaten wurde. **(Das hunderttürmige Prag. Die alte Kaiserstadt an der Moldau. Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Kulturredaktion der Hauptstadt Prag. Raumbild-Verlag Otto Schönstein K.-G. München—Prag. 1943)**<sup>1</sup>

Einer der Höchststrangigen von ihnen — so hoch war sein Rang, daß er den Titel «Reichsführer» führen durfte, «Reichsführer-SS» — hegte schon seit langem den Plan, an einem einzigen Ort alles zusammenzutragen, woraus das schädliche, das schändliche, das menscheitsgefährdende Treiben der Juden ersichtlich würde und somit bewiesen wäre, daß sie nun endlich ausgerottet werden müßten und daß die Deutschen, indem sie sich dieser Aufgabe unterzogen, im Dienste der Menschheit handelten. Prag schien ihm — nicht ohne Grund — für seinen Plan besonders geeignet. **(Friedrich Torberg. Golems Wiederkehr. Langen Müller Verlag, München—Wien. 1968)**<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Так что Прага давно уже снова являлась важным участком общенемецкой жизни, когда, в результате кризиса республики 1938-39 гг., фюрер возвратил ее в лоно Великогерманской империи, и пражский Град, в последние годы почти что филиал Коминтерна, сделался краеугольным камнем в здании немецкого единства и отныне площадкой далекоидущих свершений в деле политического строительства. **Собашенная Прага. Древний имперский город на реке Молдау. Издано при содействии Управления культуры столичного города Праги. Мюнхен—Прага. 1943**

<sup>2</sup> Один из их высших чинов — столь высок был его чин, что он даже носил звание «рейхсфюрер», «рейхсфюрер СС» — уже давно лелеял план: собрать в одном-единственном месте все, что наглядно демонстрировало бы вредоносную, греховодную, опасную для человечества деятельность евреев, и таким образом доказывало бы, что их необходимо

Da diese neue Synagoge auf einem alten Tempel errichtet werde, solle sie den Namen Altheusynagoge erhalten. Andere aber sagten, die Engel hätten die Steine aus Jerusalem nur so lange in Prag gelagert, bis im Heiligen Land wieder ein Tempel entstünde, dann aber müssten sie zurückgegeben werden. Da der Bau nur unter solcher Bedingung bewilligt wurde, was hebräisch «altnaj» hieß, erhielt sie auch diesen Namen, der später in «altneu» umgedeutet wurde. (Heinrich Pleticha. Wanderer, kommst du nach Prag. Anekdoten und Geschichten aus der Goldenen Stadt. Verlag Herder, Freiburg in Breisgau. 1988).<sup>1</sup>

**АНГЕЛ:** ...когда просыпаюсь, я вижу — даже не размыкая еще тяжких пластинчатых век — его рифленые, очеркнутые зеленоватым свечением златокрылья, сложенные на невидимой спине, его уткнутое в подогнутые и сведенные передние колени лицо, вытянуто срощеется губами, ноздрями и переносицей. Полого торчат с обочин квадратного лысого взлобья — сходясь, но не доходя — гнутые толстые златорожки. Опущенные остроконечные уши под их основаниями изредка медленно вздрагивают. Влипший в левое стегно плоский изогнутый хвост недвижно колышет по цементному полу золотой бахромкой оконечной кисти. Пышно обросшее сальными ожерельями горло, я знаю, внутри себя сейчас сжимается и разжимается. Сегодня *его* черед просыпаться, приподнимать свою неподъемную голову ко вдоху. А мой к выдоху мою. И я приподымаю, но с занемевшим осердьем уже вижу невозмож-

наконец-то стереть с лица земли и что немцы, подчинив себя этой задаче, действуют в общих интересах человечества. Прага, как ему — и не без оснований — казалось, особенно хорошо подходила для осуществления его плана. Ф. Торберг. Возвращение Голема. Мюнхен—Вена. 1968

<sup>1</sup> Поскольку новая синагога возводилась на месте старой, она получила наименование «Староновая синагога». Некоторые, однако, утверждали, что ангелы оставили иерусалимские камни в Праге лишь до той поры, когда в Святой Земле снова восставится Храм — тогда камни должны быть возвращены. Так как строительство синагоги было позволено лишь *при этом условии*, что по древнееврейски звучит как «алтнай», она и получила такое название, позже переосмысленное в «альтной», «староновая». Г. Плетиха. Странник, ты в Прагу придешь. Анекдоты и истории из золотого города. Фрайбург. 1988



ное — вижу, что его здесь нету, даже теплого пятна на полу от него нету, даже зеленовато подсвеченного силуэта в воздухе... и это означает, что я не понимаю, а есть ли здесь я. Я смотрю вниз, сквозь мои сведенные и подогнутые передние колени, сквозь пол и еще один пол, сквозь глину, дерево и камень, сквозь кислый разреженный воздух и сладковатую густую темень — нет, то, для чего мы здесь, оно еще на месте, схоронённое в самой глубине, под девятью покатыми ступеньками, в соленой, неразъемно оледенелой земле. Нижние часы на еврейской ратуше показывают полночь. Верхние тоже. Через минуту они двинутся дальше по кругу, но в разные стороны — нижние противосолонь, верхние наоборот. Насколько хватает зрения, его нету нигде: ни здесь, в Еврейском городе, ни во всем Старом городе, ни на Малой стороне, ни на Градчанах, ни на Жижковой горе, ни на Вышгороде, ни во всей Богемии, и ни даже в Моравии — дальше я взглядом не достая, но дальше его и быть не может. Страшный полуденный снег падает на город — как будто беззвучно выстрелен из батареи пневматических пушек, летит провисшими цепями, с неестественной силой и белизной, — на черные улицы, на забытые внутри снежных гор трамваи, на потерявшие очертания площади, на смутно забеленные низкие мосты. И лишь два невероятных снеговых пузыря сплюсненно-мутно светятся — старый вокзал и пражский Град; над ними обоими окончилось развернуты венозные флаги с подломленным на окончаниях крестом, посолонь катящимся в овальном передернутом пробеле. Я опять гляжу от себя направо: всё тот же незаконный чердачный мрак, всё так же его нет нигде — как не было.

### ЭКСПОНАТ «JUDE, MÄNNLICH»<sup>1</sup>:

...ахтыбожетымойправедный, неужто всего еще только двенадцать...? Я-то думал, четвертый час ночи уже, как минимум... Значит, еще целых восемь часов париться — без света, но в лапсердаке. С другой стороны, что ж делать — все-таки полная инвентаризация, этакое не каждый божий день стрясается; предыдущая, кажется, была лет тридцать назад, перед тем, как нас министерству культуры передали. Меня тогда еще

<sup>1</sup> Еврей. мужская особь (нем.)

не было, я, кажется, в шестьдесят... восьмом пришел, в декабре-месяце, точно, акурат перед рождеством — как раз четыре года исполнялось, как нас переподчинили... Покойная фрау доктор Гербст из отдела заговора все на этот счет огорчалась, бедняга; никак не могла забыть, что научных сотрудников с военной сетки сняли. ...Нет, ну какую ж тут учинили пыль, гниль и теснотищу — не продыхнуть, не повернуться: все запасники повывастили! Если пукнуть, она точно услышит — еще б не услышать, с таким-то носом! Может, заснула? Не, дышит часто, аденоида съктывкарская. Все равно страшно — не то что пукнуть, животом буркнуть: ящик на ящике до самого потолка, всё качается, всё скрипит, держится на соплях, того гляди, на голову чего-нибудь ёкнется — тиличная чешская работа. Одних указок — костяных, деревянных и разно-металлических — шестнадцать тысяч штук, и каждая может указательным пальцем в глаз. Вавилонское столпотворение какое-то, а не музей. Я ж им предлагал: книжки-рукописи с принадлежностями сюда, в Староновую, предметы культа в цыганскую, а остальное, быт там, ремесла и все такое распределить между Майзелевой и Пинкасовской, было бы гораздо рациональнее. Коллекцию Розенберга отдельно где-нибудь, скажем, на третьей площадке. А нас с аденоидой — в ратушу, там и места побольше, и диваны есть кожаные в ученом совете, хотя бы приснуть можно... Нет, ну как же! как же! — а что, если из Берлина вдруг комиссия, посередини-то ночи? *Согласно министерского распоряжения сличение наличия производится исключительно по порядку следования инвентарных номеров.* ... С другой стороны, тоже, конечно, разумно — не сойдись опись ненароком, кому отвечать? Не нам же с этой, с Лариской Саррой Михаэлис инвентарный номер такой-то, и не голоштаным сотрудничкам научным, все как один педерасты... — директора бы стали дрочить, доктора нашего профессора фон Вондрачека. И так едва держится — возраст-то уже пенсионный, и не член партии. Как его вообще назначили, вот тайна сия велика есть. Была, значит, рука в министерстве или выше, но теперь эту руку ушли. Ничего не попишешь, господин профессор, новые времена — новые руки.

## ЭКСПОНАТ «JUDE, WEIBLICH»<sup>1</sup>:

...ой, мамочки, не могу — сейчас чихну. Ноздри вместе, брови врозь ... так... так... всё — рассосалось. Слава богу: еще догадается жирный, что не сплю — разговоры начнет разговаривать, по-немецки. А как сидя на бедре заснешь? ...Нафунылято, нафуныля... Это от чесночной колбасы. Во всем городе нету колбасы, а ему из Нюрнберга привозят, потому как по учебному плану должен чесноком пахнуть. А мне в год одно реквизитное платье с выточками полагается, всегда одинаковое — полушерстяное по горло, мышшиное. И четыре пары бумажных чулок в резинку, которые после стирки трупно воняют «перзилью». Нет, хватит о запахах, а то сейчас еще вспомню, как пахло в литерном поезде Сыктывкар-Харьков-Прага, когда меня сюда везли — все-таки сильно хуже. Ржавой селедкой, мочой и русским потом. Моча у все наций пахнет одинаково, а пот и говно по-разному. Ой не могу, сейчас блевану — жидкие слюни уже сквозь зубы просачиваются, ледяные. Медленный задержанный выдох, пупок резко вобрать — это называется *еврейская йога*. Скоро мышцы зашебуршат, они всегда после полуночи выбегают. Ханс-Йорген говорит, где есть евреи, там всегда будут и мыши. Но он хорошо к нам, к евреям, относится, он нас не только изучает, но еще и трахает. Спасибо, инвентаризация эта сраная как раз на месячные попала, не так обидно. Все равно здесь толком и негде, когда даже всех этих ящиков нету, — скамейки косые и узкие, по полу дует, мыши опять же. Одно слово, синагога. Вот если Ханс-Йорген ключ от ратуши надыбает, как собирался — там, оно конечно, настоящие диваны, присутственные; жалко только, кожаные: с-поднизу будет холодать и к ягодицам прилипать. Зато с кожи лучше сходит, в случае если спущенка попадет — у Ханса-Йоргена струя какая-то рассеянная, всегда брызжется. У русского мента, который тогда меня до Харькова вез, вот у того било, как из брандспойта: он мне в сортире запилил, сзади стоя, — и хоть бы капля на ноги вытекла. В семнадцать мальчишеских лет разве такое качество оценишь? — только что больно и воняет. Стоп, про воняет нельзя. В восемь Боженка придет, нас выпустит, и надо сразу

<sup>1</sup> Еврей, женская особь (нем.)

бежать, по уши в снегу, на Петушью — на третьей площадке две школьные экскурсии «Быт восточноевропейского еврейства второй половины XIX века» запланированы, и еще японцы из газеты. Парик этот мой не-на-вижу: неизводимо пахнет мучным клейстером и прогорклым жиром... — охтыбожеты-мой, опять за рыбу деньги, что это я сегодня? — ...но до утра можно без: в такой темноте никто не разглядит мою длинную голову с темнорыжей завихренной шерсткой, даже мыши. Я похожа на молоток.

**АНГЕЛ:** ...а наверх он подняться не может — пока камень здесь, мы оба не можем наверх. В положное время — его же мы не имеем права помнить — вот, опадают староновые стены, как опадают ссохшиеся кривые обертки с поздней обшелушенной розы. Тогда обнажается исподнее зияние земли, мы сходим в него по девяти наклонным ступенькам и забираем оттуда белый, теплый, крупно-шероховатый камень. У нас ведь нету рук, потому-то нас нужно двое — мы притискаваем камень с двух сторон нашими круто-выпуклыми, неподвижно-напряженными грудями и, по-стрекозиному часто-часто маша узкозолотыми крыльями, медленно-медленно поднимаемся над городом, над пятерчаткой его заросших снегом, кирпичом и жостью холмов, над его темно-сверкающей рекой, перепоясанной перепончатыми мостами, над его волнообразной электрической сьшью, и боком, поверх камня глядя друг на друга неотрывно, не-быстро-не-медленно летим на юго-восток — он справа, я слева. Имя ему тогда называется *Великая почесть*, а мне *Утешение войска*. Раз в пятьдесят лет — пока не настанет положное время — в ночь снисхождения юбилейного года по счету месяцев от пасхального месяца ниссан мы просьшаемся к выдоху и ко вдоху; но того, кто справа от меня, нет сегодня нигде: ни здесь, в Еврейском городе, ни во всем Старом городе, ни на Малой стороне, ни на Градчанах, ни на Жижковой горе, ни на Вышгороде, ни во всей Богемии, и ни даже в Моравии. Его нужно найти, а как — я не знаю. Я еще раз гляжу на бессветный, беззвучный город, запеленутый в недвижную метель: все жители спят в перегретых комнатах, пахнущих старой пищей, телом и кухонным газом, только немногие тонковолосые люди в черных мундирах с

тускло-серебряным витьем на плечах косо склоняются над желтым суконцем столов (слоистый табачный дым, изворачиваясь, втягивается в опрокинутые абажурные воронки), и только недолгие поезда, дергая дымными усами, под- и отъезжают — шипящие, носовые, горловые — под желто-засвеченной вокзальной раковиной. В залах ожидания непокойно дремлют славяне по фанерным скамейкам, обнимают на коленях свои туго перетянутые картонные короба и кули из крупнозернистой дерюги. Полицейский проходит с фонариком, высвещает слепо морщащиеся лица. Луч проскользает по веснушчатым рыжеволосым рукам, молниеносно переменяющим местами два железных стаканчика на обколупанном сиденье. Курчавые пальцы замирают, луч, помешкав, движется дальше — ему заплачено. Глупая игра. Я возвращаюсь и снова гляжу под себя, сквозь пол и еще один пол, сквозь дерево, глину и камень... ..как же я не заметил сразу? Еще двое не спят, и прямо подо мною не спят, в беззвучной и бессветной зале Староновой синагоги — еврей и еврейка, одни на весь этот город. Теперь я, кажется, знаю, что с ним: нам ведь не уйти отсюда, и умереть мы не умеем — мы можем лишь оступиться и в кого-то упасть, как беспризорный телок падает в неогороженный колодезь.

#### **ЭКСПОНАТ «JUDE, MÄNNLICH»:**

...она, конечно, и рыжая, и сутулая, и узкоплечая, и глаза у ней миндалевидные, и нос крупный, загнутый, с тонким хрящом, и дыхание сухое и неблагоприятное, но что черепные показатели идеально соответствуют, вот уж это позвольте усомниться — слава богу, двадцать седьмой год тут сижу, и без штангенциркуля всё прекрасно вжу. Надо было командировать в Сыктывкар кого-нибудь опытного на приемку, промерить всё как положено, расспросить о ней поподробнее в политической, а они, грошовой экономии ради, послали обмеры, утвердили в министерстве фотографию фаспрофиль шесть на восемь — и пожалуйста, распишитесь в получении. Разве ж Иваны понимают научную важность? — подсунули первое попавшееся: *на тебе, боже, что нам негоже*. Я же предупреждал, когда наш, Терезиенштадтский питомник закрывали: с этими русскими вы заплачетесь еще; думаете, они войну

забыли? ... да и не подготовить им качественного материала, даже если б хотели, — фрау Гербст из отдела заговора была со мной полностью согласна. Всё мне пришлось делать, всему учить — фаршированную щуку от бычка в томате отличить не умела, не говоря уже о языке. Ни немецкого, ни идиш, ни говяжьего с зеленым горошком — один русский пополам с матом. Первые годы стыдно просто было перед экскурсантами — сидит на табуретке нога за ногу, как шикса; того гляди на пол плюнет и папиросу вынет. Предыдущая еврейка, Берта Сарра Михаэлис, земля ей пухом, в гробу бы перевернулась, когда б увидела, что ей на замену привезли. Вот, сердце опустело и в глазах стало едко, как про нее вспомнил, про бедную... Все прахом пошло, все, что пятьдесят лет строилось, налаживалось, — пасха на носу, а мацы в музее ни кусочка, валюты, говорят, у них нет. Берта-покойница, та всегда сама делала, хоть и пожилая уже была женщина, едва ковляла на артритных ногах; хотя, честно говоря, чего там и делать, вода с мукой — но эта сопучая разве станет? никакой трудовой этики, да и откуда? Им-то в ученом совете всё без разницы — не будет пасхи, так и шут с ней. А как детки радовались, когда я крадучись вносил в комнату завернутого в дерюгу младенца, и воздевал над ним черное сапожничье шило, и из его пластмассового горла, при помощи хитроумного механизма, изобретенного инженером Мейснером, лупила в кастрюлю, стуча и булькая, забрызгивая на отскоке Бертин клеенчатый фартук, густая темно-красная кровь. *Вот бы тебе так, Карличек!* За полгода экскурсии заказывали, из Франции и Голландии приезжали, целые школы на автобусах, а теперь что? Где Франция? где Голландия? где язык? где зеленый горошек? — какая-то в державе датской гниль, и инвентаризация, и темнота электрически шевелится по углам глаз, и в остатках волос над ушами свербит и чешется. ...Если съесть бутерброды сейчас, к завтраку ничего не останется, так и шлепай на Петушьего голодный, с затверделым прорезным нитьем под ложечкой.

### **ЭКСПОНАТ «JUDE, WEIBLICH»:**

...почетная немка мне и до второго пришествия — ежу ясно!  
— не очистится, это Ха-Иот просто понты мечет — во-первых,

уши, хотя, кроме ушей я и не похожа, во-вторых, акцент русский, практически неистребимый, особо что касается «рэ» и «ха», и долгих-кратких всяких с умлягутами ...ну и вообще; но если там, наверху, всё так и дальше пойдет, почетную чешку вполне могут через три года дать; это тут, в Праге, решают. Только нужно будет представление от институтской партгруппы. Тогда можно по выходным за стену, официально. Муж-объелся-груш, народный маланец Леопольд Израиль Михаэлис во всю свою народномаланскую жизнь небось ни разу в городе не был, хоть и пыжится, что местный, а я за семь лет уже четырежды. Хорошо, я маленькая: сложи меня пополам, в любой багажник утарюсь. А чего, всё не хуже, чем тут целую ночь сидеть на одной кости — темно так же, и дышать нечем; главное дело, губу не прикусить, когда по булыжнику. У Ханс-Йоргена «опель-капитан» четырехдверный, девяностого года, цвета электрик, вот бы наш начспецзоны ротмистр Трищенко Генрих Андреич позеленел, если б увидел, как я в нем по Европам разъезжаю. На евонном раздолбанном «кадете» только по девятым мая, на День освобождения, парады еврейской милиции принимать, да с бодуна пылить по плацу часами; а зачем бы еще? — из спецзоны нашей даже в Сыктывкар и то только вертолетом. Без моего папы-Гоши, народного умельца, хрен бы он вообще с места стронулся — насквозь ржавый, и запчастей ноль. Гоша всё своими руками отшкуривал да вытачивал, с полгода в гараже комендатуры ночевал. Может, и сейчас еще ночует. Зато я тут, и буду тут. Всё, нижняя нога сейчас окаменеет и отвалится, если на вторую попину не пересесть. Так, так, осторожно... скрипу-то, скрипу... не дай бог проснется! А это еще что?! — металлическое что-то внизу о цемент... — зараза! это ж бирка инвентарная, зараста она говном; резинка совсем к лодыжке сползла, совсем слабая стала — конечно, какая резинка выдержит, если ее все время до самого верху дотаскивать — мужики, они как дети, ей-богу. Ханс-Йорген тоже дурной стал, сегодня утром в фотолаборатории заглубил у меня промежду ног жестяной жетончик этот, плашмя и продольно, номерок наружу — JW-353387 —, уперся в него и вдруг спрашивает: «А если нас закроют, ты как, домой вернешься?» И красный

свет! Чего-то у них там подозрительное происходит — денег, что ли, больше на нас нету, или вообще что-то меняется. ...Всё, знаю, что буду делать, если действительно закроют! — тут, сразу за стеной, валютное кафе недавно разрешили, «Кафе Голем» будет называться. Что-то по-чешски, надо утром у Михаэлиса спросить. Наверно, у них там голые девки для туристов пляшут. Я ж теперь тоже вроде артистки — наймусь туда со всякими юмористическими сценками из еврейской жизни, типа как мы на седьмой площадке показываем: «Обмер, обвес и спаивание крестьянского населения Галиции». ...Нет, *туда* я не поеду.

**АНГЕЛ:** ...спросонья он чует посреди небывало долгой зимы нынешнего юбилея чье-то пустое, соленое, теплое тело, мучительно вздрагивающее жизнью — и падает туда, не успевши даже растерянно оглянуться. И теперь безвыходно заключен в бессветном сыростенном объеме, беспомощно запутан во вздрагивающих осьминожьих сплетениях всех этих сизо-красно-зеленых жил, кишок и мышц, в шелковой паутине крови, бездонно затоплен в крутой телесной слякоти. Сверху над ним подрагивает, стуча и причмокивая, мокрая сумочка сердца. И сейчас он снова заснет. Ему уже из этого тела не выйти, покуда оно не разрушится само собою, поступательным ходом времени. Или покуда я его не разрушу. Нет, кроме этих двоих ему некуда было упасть — больше я не вижу евреев, ни здесь, в Еврейском городе, ни во всем Старом городе, ни на Малой стороне, ни на Градчанах, ни на Жижковой горе, ни на Вышгороде, ни во всей Богемии, и ни даже в Моравии. Но только в которое же из двух этих искривленных во тьме тел угораздило его угодить? Чья последняя пустота потребовала своего наполнения требованием, против какого такие, как мы, бессильны? Этого узнать невозможно: еврейские души — в каждом из них по три одна в другую вложенных — для меня запечатаны и непроницаемы: я не могу подслушать и подглядеть — могу только, единственным золотым взмахом моего криво наклоненного рога, распороть четырехслойную оболочку и обнажить заключенное. Но что если там пусто? Не страшно умертвить человека, лишь слегка жалко и противно, но если сделать это напрасно, еще на ты-



сячу лет задержится Избавление, еще тысячу лет придется нам сторожить этот теплый, белый, крупно-шероховатый камень в этой холодной, гладко-глиняной и зеленой стране. Я с трудом узнаю ее — такая тишина в ней, такая метель. И опять стоит стена вокруг Еврейского города, сто пятьдесят шесть лет как снесенная. Опять теснятся его кривоколенные узкие улицы, по середине нижних окон заросшие черноснежной опарой, а ведь пятьдесят лет назад, когда мы в прошлый раз просыпались, почти ничего уже не было — разве что кладбищенская горка с двенадцатью тысячами без порядка сгрудившихся плит, утонувших в лишайном мху, полусгнившем хворосте и старой бузине-раскоряке, да еврейская ратуша с двумя противоидущими часами, да полудюжина холодных запертых синагог. Была война, и улицы пахли смертью. Теперь они не пахнут ничем, даже угольным дымом, даже селедкой, даже сладким древесным гнильем. Ничто здесь больше ничем не пахнет. Лишь два судорожных тела в загроможденной какими-то ящиками и снаружи зашторенной и замкнутой зале — влажным полусном, и бумажной пылью, и зубоврачебным дыханием. Но что, если положительный день придет завтра или через год, или через десять, а обволокущее тело еще не умрет? как я один понесу в Ерусалим невыносимый камень?

### ЭКСПОНАТ «JUDE, MÄNNLICH»:

... выросли в длинных машинах, в черных бронированных «мерседесах» — *третье поколение вождей*, кроме спецкабаков да коридоров канцелярии никакой жизни не видели. Думают, все их и так любят, а немножечко послабухи дать, так полюбят еще пуще. А Америка долларов подсышет. Того не понимают, что чуть послаби — и всё начнет расплзаться, всё, что на тысячу лет было связано. Уже начало. Чехи, например, их совершенно не любят — как были в глубине души панслависты, так и остались. Все на восток смотрят. Даже наша Боженка-уборщица, щеки в волосатых родинках, и та с «Голоса Америки» поет: «I gonna make love.» А что немецкие танки их сначала от кровавого режима Масарика-Бенеша спасли, а потом от азиатских полчищ, — и не помнит уже никто: не желают помнить. Благодарность роду человеческому не существительна — берлинские старики это знали и не

обольщались. Главное, сам будь порядочный человек, — папа мой покойный всегда так говорил, — вот и вся любовь. Как снег сойдет, надо пропуск заказать, в Терезиенштадт на кладбище съездить, лет уж десять не был, стыдно. ...Любить, может, и не обязательно, а вести себя прилично — обязательно! Особенно нам, после всего горя, что мы им причинили, — папа это всегда говорил. Как к ним не относиться, а европейскую культуру они своей кровью спасли, а, значит, и нас. А потом, восстановление, — это ж циклопический труд, один наш музей-заповедник чего стоил. Тридцать лет гетто по камешку отстраивали, все, что чехи снесли, что австрияки перепланировали — каждый дом, каждую улицу. А теперь? коту под хвост? ...Эти тоже, сотрудники научные, бороды до яиц, джинсы в сеточку, *господин Михаэлис, господин Михаэлис, видели уже сегодняшний «Народный наблюдатель»?* — Эрнста Рема реабилитировали, посмертно! Теперь все пойдет по-новому! Счастья полные штаны — Рема реабилитировали! Томаса Манна напечатали! Марлену Дитрих по телевизору показали! Это потому что педерасты, вот и радуются! Прохазка Ханс-Йорген из отдела раннераввинистического иудаизма — тот еще ученый, одна брошюрка популярная «Мифы и суеверия о евреях» — копает под директора по партийной линии: тоже охота гоппнику за дубовый стол усесться, под картину в золотой раме «Въезд вождя немецкой нации Адольфа Гитлера в Иерусалим», к сорокалетию победы подарена палестинским послом. Втихую уже небось проект в Берлин отправил: заповедник в международный центр дружбы народов переделать. Научные программы сократить, общеобразовательные отменить — одни шоу для арабских шейхов и американских евреев с подложными армянскими фамилиями. Как же, *латшой* запахло! В химотделе они аэрозоли с еврейским запахом разработать не могут, который год! а запах доллара моментально выделяют. Мне что, на мой век хватит... без меня так и так никакого шоу... мне-то, может, даже лучше еще... может, бирку снимут, в сотрудники переведут — за институт просто обидно, ей-богу.

### **ЭКСПОНАТ «JUDE, WEIBLICH»:**

...когда я сделаюсь вольнонаемной чешской, он на мне точно

поженится, где ему еще такую махалку сыскать, с его-то душем перебойным. Госпожа Лариса Г.Блюм-Михаэлис-Прохазка, звезда пражского кабаре! Не, лучше пани Блюмова-Прохазкова, я ж чешка буду, *сяду на седадло, поеду на дивадло*. А сюда заместо меня — Ритку, ей как раз будет где-то пятнашка. Ханс-Йорген ее как научный директор персонально через Екатеринбург затребует: русские немцам еще послевоенного заёма целиком не отдали, никуда они там на спецзоне не денутся, пошлют Ритку, даже если старая Гандельсманиха раком встанет за свою Эдиту-корову. ...А вдруг русские с Америкой впадлу договорятся, евреев и всё такое продавать, и нефть? Может, Ритка с папой-Гошей и с мачехой давно уже в какой-нибудь Цинциннати хорькуют, Лазаря на вокзалах поют? У Гоши-то хоть ловкость рук, он хоть может с негритохесами в наперсток, а мачехе, ей разве только жолой кривые гвозди из досок таскать, по десять центов штука, не больше — класс, цирк зажигает огни! ...Потом я тоже в Америку поеду, на гастроли. Куплю им домик с садиком, папе-Гоше машину, Ритку в техникум текстильной промышленности отдам. И вернусь! Артист без родины, как без воздуха задыхается. Мы будем с Карелом Готтом любимые артисты, будем петь по телевизору дуэтом: он старенький, румяный, в бежевом двубортном костюме, а я в платьё американское одета, блестящее, с разрезом по самое здесь, и ползучее розовое боа. Квартиру дадут на Грабене, трехкомнатную с балконом, биде «бидермайер» на ножках и всё такое. Потом начнется восстание масс, чехи немцев погонят, а меня как любимую артистку всенародно изберут королевой. Ха-Йот, бедняга, погибнет при штурме еврейской ратуши — картина там висит в кабинете, Гитлер на маленьком белом коне, или осле в натуральную величину; при взрыве сорвется и ему случайно по башке, или он в Германию сбежит; а я поженюсь на болгарском царе, и вперед на Судеты! — объединим все славянские земли, как нам ротмистр Генрих Андреич Трищенко объяснял на политлинейке, что вслед за германцем наступает мировое время славянина, надо только дождать, пока германец постепенно начнет вырождаться, а вы, зайчики-еврейчики, потерпите еще трохи, а пока что

круугом, шаагом марш на исполнение хозяйственных работ согласно разводного графика. Идиотка, козликха! — тоже нашлась, королева Чехии Лариска. Покажут тебе королеву... Фрицы чуть уйди, такое начнется, одна кровавая пюре. Ой, не могу как курить хочется... Нет, надо было в Америке оставаться, в Цинциннати этой мухосраной с папой-Гошей, или американа какого быстро поднять, культур-атташе, например, или журналистика из «Уайт рэйс», и с ним сваливать, пока не поздно: там войны не будет, не говоря уже о восстании масс.

**АНГЕЛ:** ...теперь я знаю где — в еврейке! Мы с ним почти что одно, а себя разыскивать, я бы начал с нее. В другом времени, где мы не разосланы по скрытым городам, наколотым сокровенным узором на шкурно распяленной карте полушария; в другом времени, где мы не приставлены по двое к этим белым, теплым, крупно-шероховатым камням, не прикованы к ожиданию положного дня; в другом времени, где мы небыстро-не-медленно кружим, вырезая незримые розы в вечно вечереющсм небе — круто перерезая друг другу пути, тонко продевая одна в другую узкие петли и из этих многомерных роз сворачивая-разворачивая-выворачивая одну общую — безмерную, неразъемную, вечно нарастающую во вращении; в этом другом времени мы от раза к разу нисходим (незримо ведя за собою полупрочерченный лепест) во всегда для нас распечатанных глиняных дочерей, и оставляем в легких пустокостых телах, на четвереньках стоящих перед степными алтарями, кипящее золото наших семян (и, зеркально завершая движение, резко уходим вверх). Еврейка сидит, боком скрючась, в щели между ящиков и то смежает, то размежает свои бледные, выпуклые, как бы слегка исцарапанные веки. Сухая, на сгибах подрасслоённая кожа; низкий веснушчатый лоб; треугольные груди с вдавленными сосками; длинные узкие руки с по-обезьяньи большими ладонями. Это она. В ней припадая топчется сердце, поскрипывает косточка во вжатом бедре, чавкает стущенная кровь в низу живота, одна туфля уперта в пол курносый потертым носком, другая, ритмически кивая, выглядывает из-за лодыжки; внезапно она обхватывает себя крест-накрест и несколько раз молниеносно чешет чуть

ниже подмышек — множественный влажный шорох. Споднизу она вся раскрыта, и силовая воронка вворачивается в-нутрь — неспешно, неподвижно. Неостановимо. Мне страшно — еще чуть-чуть, и меня закрутит, как его закрутило. Сейчас я... ..А если нет? Разломи я сейчас это скудное тело, евреев больше не будет — ни здесь, в Еврейском городе, ни во всем Старом городе, ни на Малой стороне, ни на Градчанах, ни на Жижковой горе, ни на Вышгороде, ни во всей Богемии, и ни даже в Моравии — их никто не родит. И как знать, есть ли еще другие там, где я их не вижу (а я не имею права этого помнить)? Без них же и мы не нужны. И Избавление незачем. ...Нет, не она! — ведь она никого не зовет, она только есть. Он провалился в еврея, в это старое, многомясое, прозрачноглазое тело, раскрытое сверху — оно влажно ерзает на теплом сернистом газе, оно дергает кровью в глазах и под челюстью, оно сглатывает и пукает, оно так голодно и горько неслышно кричит, так жалко и жадно беззвучно бормочет. Оно горячее, мягкое. Его спросонья хочется надеть.

\* \* \*

### ЭКСПОНАТ «JUDE, MÄNNLICH»:

Она мне будет еще говорить, что я как немец! Если тут кто еврей, так это я — а кто? не она же, Лариска! Начнет опять дразниться, я ей так отвечаю: «Еврейскость во мне не просто прочна и жизнеутверждающа — она, возможно, мой основополагающий стержень. И одновременно я человек насквозь европейской культуры.» Это хорошо: стержень! Не зря же тут только меня и оставили с покойницей Бертой, когда повальное сокращение было в семьдесят седьмом году, и даже Терезиенштадт закрыли — всё после того, как в архитектурно-историческом заповеднике «Заальбургская крепость» поляки — имя же им легион — нанятые изображать древних римлян, взбунтовались и скормили уссурийскому тигру все франкфуртское партначальство во главе с гауляйтером. Повздорился престарелый гитлерюгенд в древнеримскую баню с девками, вот их и прищучили, прямо во фригидариуме. Потом войска СС аж трое суток вели форменную осаду, пьяные

пшеки вертолет даже ухитрились сбить из действующей модели катапульты, но ...ну ясно. С тех пор я тут один за всех и все за одного — с площадки на площадку, с площадки на площадку, на моем-то шестом десятке! «Тебе, поганке, в жизни не понять, что это такое — долг! Долг — это любовь!» Заржет, как последняя сука, уже заранее слышу. Ясно, что у ней в мозжечке загорается — крупным планом поцелуй на мосту, из слабоумного кино. Чтобы мокрые рты один на другой налезали, как совокупающиеся жабы. Ничего нет мерзее этой слизи! — истинная любовь есть любовь платоническая, а все остальное — слизь, слизь и пакость. Берта-покойница, например, никогда ко мне ближе, чем на полметра не подходила, кроме как на четырнадцатой площадке «Торговля живым товаром», когда мы с ней по рукам били о приеме партии одурманенных опиумом христианских девственниц, но когда меня доктор Гундерттойфель обрезал, она в соседней комнате разрывала себе горло ногтями, не в силах была слышать моего крика. Бедному папе в свое время даже в голову не пришло — действительно, дикий обычай! да и война была... — а как в восьмидесятом году нас решили для учебника по расовой антропологии на фото снять, всё дело наружу и вышло. В будущем вообще не будет совокупления, и все будут жить вечно, до того дойдет наша наука. «Всё из-за таких, как ты. Про вас еще Отто Вейнингер писал, что у вас никакой души. Знаешь, дура, что такое Вейнингер?» Она обернется — в громадной шубе, лицо воспаленно-прозрачно-розовое в утреннем свете, косо отраженном от погрудного, только что ею углом вспоротого, на сверкающе-пористые перья рассыпанного снега, присвистнет по-босаячки, и дальше пойдет разгребать сугроб руками в зеленых, вышитых бисером варежках, пропирать его наклоненным телом, при этом отрывисто-хрипло напевая, как девушка моей мечты: *Ин дер нахт але гоим мишугоим, ин дер нахт але идн инвалидн...* Или молча.

### **ЭКСПОНАТ «JUDE, WEIBLICH»:**

*Ин дер нахт але идн инвалидн...* Надо же — за семь лет первый раз с ним в одном помещении ночью. После двадцати ноль-ноль, когда уборщицы уходят, во всем гетто ни души, если, конечно, в институте срочной работы нет. И тут он исче-

зает, как будто его стерли. У него на всех площадках топчанчики приспособлены, плитки какие-то довоенной конструкции, что-то он себе часами там парит-жарит, я раз со двора в окошко подглядела, на восьмой площадке: ходит вокруг дымящего керогаза голый, лысый, на огромных и коротких красно-синих ногах, то присядет, то подскочит, то забормочет чего-то, ложку лижет, левую пейсу накручивает на указательный палец без фаланг. А писька едва из-под брюха виднеется — плоская, матово-сизая, даже не качается. Шаман какой-то коми-пермяцкий, только бубна нет, а думает, что почти как немец. *Немец-перец-колбаса...* Хотя бы раз пригласил поужинать, муж. ...Внешне-то он как бы ничего, глаза, например, хорошенькие — голубесенькие. Брюхо, конечно, это да — всем брюхам брюхо, сплошь зеленовато-белесым мхом поросло, как надгробье. Если трахаться, то только чтоб я сверху... В телепрограмме «Здоровье» вчера было: ученые такую таблетку изобрели, с глистами: съешь, у тебя сразу глисты. Худеешь, а потом глистов выводят обычным способом; интересно, какой это обычный? — наверно, через рот выматывают на вилку. Пришлю ему из Америки упаковочку. Не спит же, зараза, притворяется! Или заснул? Что, если сейчас к нему неслышно подползти по-пластунски и нежно так и ласково сунуть руку под пузо? Всё равно у него всегда мотня расстегнута, *захады, дарагой*. Как он, интересно, прореагирует? Жалко, ползти далеко и темно, как у негра в жопе; только локти обдерешь и синяков настукаешь. С другой стороны, может, он вообще не может? Если Боженка не врет, какая-то у него травма с предыдущей Саррой была. Что-то такое пуганое, я так и не поняла — что-то он нашел в каких-то бумагах, когда она удавилась. Не могла, что ли, погодить, старпёрка, пока самоходом отомрет? Зато я — тут. И буду тут. Май скоро, слава богу; духовые оркестры, фейерверк — его с крыши хорошо видно; военные корабли придут во Влтаву, ночью они похожи на рождественские елки. Воздух пахнет дымом, камнем, рекой — ничем. Птицы свистят как мыши. Я буду вечером на кладбище ходить, в белом платье марлевым, которое мачеха сшила. Михаэлис говорит, по-малански кладбище — Бет-Хаим, «дом жизни», значит; непрос-

тые ребята были древние маланцы, юморные. Почему на рту пленка такая тягучая, кисло-сладкая, никак не разлизать? *Индер нахт але гоим мишугоим...* Я люблю там плиту одну стоячую, полукругом сверху обтесана, посередине шишечка. Я под нее бузиновых веток набросаю, подниму к лицу подол, мерцающий на просвет, лягу на спину, вдохну одним вдохом все запахи снизу, все огни сверху — и засну.

**АНГЕЛ:** Он ничего не заметит, просто умрет. Его толстое жесткое мясо быстро обмякнет, медленно покатится с покатого стула, упрется коленками в цемент, полы сюртука разъедутся по полу. Голова, отбросив шляпу, отогнется и несколько раз подпрыгнет на теплом сиденьи — голая, квадратная, в редкой гречке. Из маленького безгубого рта в осязаемую староновую тьму струйкой вылетит светящееся, легкое, крошечное и, покачиваясь, разрастаясь, сплющиваясь, начнет на сливающихся в золотое полушарие крыльях возводиться наверх, к потолку, сквозь потолок и еще один потолок, сквозь глину, дерево и камень — ко мне. Лежа прорастет справа, сложит крылья золотыми саблями вдоль хребта и уткнет в сведенные передние колени лицо, вытянуто сросшееся губами, ноздрями и переносицей. Вздрагивая, опадут остроконечные уши под основаниями гнутых златорожек. Плоский хвост спустится по левому стегну, расплющит о пол золотую бахромку оконечной кисти. И сомкнутся тяжкие веки. ...А вдруг нет?.. Что ж, тогда остается еврейка — и тысяча лет. Двадцать тягостных пробуждений. Может, пусть ее тогда? — все одно ведь умрет, раньше ли, позже ли — и вот он выходит и возвращается, даже не проснувшись. Но женщина zaczynaет во чреве, и он — еще во чреве же — переходит во плод. И чресла ее могут оказаться чадоточивы, и через пять десятилетий я снова очнусь и увижу евреев — или здесь, в Еврейском городе, или дальше в Старом городе, или на Малой стороне, или на Градчанах, или на Жижковой горе, или на Вышгороде, или где-то еще в Богемии, или даже в Моравии — детей ее и внуков; и в ком из их множества искать того, кто должен быть справа? Сколькими тысячелетиями нагрузу я ожидание положного дня? Положный день... день избавления: обнажается исподнее зияние земли, мы сходим по девяти наклонным



ступенькам и забираем белый, теплый, крупно-шероховатый камень. У нас ведь нет рук, потому-то нас нужно двое — мы притискиваем камень с двух сторон круто-выпуклыми, неподвижно-напряженными грудями и, по-стрекозиному маша узкозолотыми крыльями, поднимаемся над коронованным городом. Имя ему тогда *Великая почесть*, а мне *Утешение войска*. Одному не донести этот камень до Ерусалима; если я буду один — Храм не восставится, Избавление не случится, и это страшней тысячетных отсрочек. ... Нет у меня больше сил — просто вскрыю их разом обоих, еврея и еврейку: пускай еще тысяча — но мы будем вдвоем. Левым рогом еврея, правым — еврейку, сейчас брызнет свежая кровь на никогда ничем другим не мытые стены. ...Это что? — шорох, короткий, скрипучий. Мышь? Нет, еще не мышь. Это на еврейской ратуше прыгают золоченые стрелки — на нижних часах влево, на верхних — вправо. Моя минута прошла. Засыпаю... И опять я...

---

---

*Макс Жакоб  
в переводах  
Аллы Смирновой*

---

---

***ПЕРЕВОДЫ***



## Макс Жакоб

### Приглашение к путешествию

*Луи Бергеро*

Вагоны, станции и перегоны,  
Гадалки в ярких одеждах,  
Цыганская жизнь бродяжья.  
И розовые кабаре,  
Пустеющие на заре.

Мимо леса с лужайкой, мимо,  
Мимо хрупких рантье, мимо,  
Мимо парка с листвою, мимо,  
Словно кубики из лото,  
Но — не то!  
Я тебя приглашаю, Элиза,  
В Венецию или в Пизу,  
Посмотреть на дворцы дождей,  
Покататься в гондоле — даже.  
Мы оставим велосипеды  
У обвитой плющом беседки,  
Там, где травы растут большие,  
Мы свои оставим машины,  
Их украсим боярышником,  
А сами пойдем пешком.  
Мы не будем спешить никуда,  
Лишь смотреть, как течет вода.

А исполнится нам шестьдесят,  
Мы вернемся с тобой назад  
Мы помчимся миля за милей,  
Позабыв об ушедших днях,  
В ярко-красных автомобилях

Или  
На крылатых конях.  
Только в будущем том богатом  
Будут ли наши кони крылаты?  
Объявление в витрине:  
«Продаются четыре пустыни  
С видом на живописную гору,  
Обращаться в нотариальную контору:  
Дом 18, бульвар Карно,  
Спросить господина Шокарно.»

### Английский городок в воскресенье

*Жоржу Габори*

Вот античный фронтон и античный базар.  
Вот читаем «Компания Балтазар».  
По стеклу тротуаров крадутся вдовцы,  
Тротуары блестящие, как леденцы.  
Жаль, что нынче не все белокуры мальчишки,  
Окунают в муку их, держа за лодыжки,  
Или за руки держат и долго полощут,  
А потом из муки выбирают наощупь,  
Перепутавши челки,  
Платки и чулочки.  
Вот мамыши — как елки,  
Как тюльпаны — их дочки.  
Пестрокрылые флаги в порту многоцветьем манят.  
Страсть одна у меня — это трубка моя!  
(Впрочем — все ерунда!)  
Во дворе постоялом от скуки скисает вода.  
А твой вид меланхолика  
Меня делает алкоголиком.  
Нет на мачтах матросов, проворные их движенья

У дам не вызовут головокружения.  
Вот я, к примеру — грустное здание!  
И это мое — увы! — постоянное состояние.  
Свод небес пустых — постыл, каземат для святых.  
О мечтанья мои! вы летите к верхушке цветка.  
Замки, радуга мошкары, облака.  
А за вами следит из травы  
Взгляд моей головы.  
Вот отели, постели, панели, поросшие мохом,  
Где земля свой замерзший нос согревает мехом.  
Мое сердце того же цвета, что кровь и солнце.  
Только ломкий тот голосок флорентийской флейты  
Барабан не может забыть, сколь в него не бейте.  
Только я, сборщик налогов, кажется, незаконных,  
Головою своей потревожу облако насекомых.  
Солнце испекло мою рубашку, рисунок стерло.  
Этим утром я три часа молился в костеле.  
Я не бодрствую и не сплю,  
Где-то играет скрипка,  
Деревья хотят танцевать, а море не слышит крика.  
Я в синее небо, как в зеркало, посмотрю.  
Это зеркало-небо Мария в руках своих держит,  
Там пророки, цари, святые в белых одеждах.  
Гринвичский меридиан — он проходит здесь.  
Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

## Смерть

### I

Назавтра я дождусь каникул бесконечных,  
Всю ночь весенний зверь мне что-то бормотал,  
И доверительное говорили нечто  
Сирены дивные и карлик Мармотан.

Позвольте мне уйти, ловцы менад и таинств,  
Всех серебристых ив не расчесать вовек!  
Но я разоблачил обманщиков-титанов  
И отыскал истоки легендарных рек.

Я сердце обнажил, и мир в предсмертной муке  
В хрусталике глазном мерцает — не солгать!  
Вот облегченье где: держа в карманах руки,  
Приблизиться к творцу и запросто болтать.

О ближний мой! в золе плоть больше не остынет,  
И ангелы, и бес нас из воды манят,  
Вот смерть — моя сестра. Святые ждут. Отныне  
И у Кибелы нет застенка для меня.

## II

Я чувствую кожей весь холод земли,  
Где деды мои и прабабки легли,  
А это вот я: распростертый, нагой.  
Щека моя — это растекшийся гной,  
А там, где когда-то сияли глаза,  
В бездонной дыре прорастает лоза.  
Там, где селезенка была и живот,  
Рассыпаны камни и вереск цветет,  
Где мысль моя билась — унять не могли —  
Лишь горсточка заплесневелой земли.  
И кто-то еще усмехнется, небось:  
На кеглю похожа берцовая кость,  
А череп — на раковину из пучины морской,  
И все перемешано с колкой травой.  
Пороки, стихи, что твердил наизусть,  
И радости жизни, и пламя безумств,  
Что билось в груди, клокотало в душе —  
Лишь серая каша из папье-маше.

Вот это рубец мой, а вот мой ожог.  
Скорее, чем я пожелать себе мог,  
настанет, конечно, и время мое —  
Тоскливая оттепель, небытие.  
Закройте тот шкаф и закройте его!  
Нет больше ни прошлого, нет ничего,  
Нет больше ни главного, ни пустяка,  
Жизнь — это клочок полусгнившего мха.  
Мы все здесь проездом, мы все здесь в гостях,  
А плоть — лишь чехольчик на ломких костях.

### III

Муравейник живет и умрет,  
И другой твое место займет.  
Кто другой? все уже сочтены!  
Вы от Бога? Вы от Сатаны?  
Все расписано здесь до конца.  
Ты — всего лишь слуга из дворца...  
Это таинство, этот елей.  
Что же я среди этих людей?  
И когда догниет моя плоть,  
Что за душу мне вложит Господь?  
Но, блуждающий тот огонек,  
Ты куда нас, продрогший, увлек?  
Шар, спиралька, зеленый фонарь,  
Ты куда отправляешься — в Рай?  
Или в бездну бесовскую вниз?  
Ангел мой говорил: это жизнь,  
Это скорбь, состраданье, любовь.  
Спорил дьявол: безумство и кровь,  
Сладострастье, притворство, обман,  
Он гордыней, как я, обуян.



#### IV

Распродажа моих старых вещей —  
Панталоны, сюртуки, клавесин,  
Нет в помине серебра, а еще  
Вот мадам, возьмите этот рубин.  
Слава Богу, мой украден бриллиант,  
И часы давно уплыли в ломбард.

У издателей весь мой капитал,  
Я им рукопись и душу отдал.  
Я прошу, звоните в колокола,  
Если смерть меня уже догнала,  
А потом похороните без слов  
Средь бретонской порыжелой травы,  
Потому что нету колоколов  
На вершине Пантеона, увы.

*Перевод с французского А. Смирновой*

---

---

*Борис Понизовский*

---

---

**БОРИС  
ПОНИЗОВСКИЙ**



Борис Понизовский

## ...О ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ НАВЫКАХ...

*(Прямая речь)*

...как о навыках ежедневности после модерна каждого утра. О навыках посреди века, только как о реалии предчувствий в отрочестве. К схемам бессловия я ревниво в пределе меры физиологического своего фрагмента...

Теперь о фрагментах Вселенной подростка: они — из него. Неподвижность подростка недолга и страшна, он открыл в себе, что лишь гость арматуры (40-е годы) Вселенной. Он — пустое, но в этом ключ к следующему фрагменту, фрагментам несть числа и завоевательные пустоты — новые ключи, есть надежда, что возраст хоть и передаст локальность пустот. В пустом равенство завязки и развязки. Место подростка расщеплено на наблюдение и наименование. «Да Нет» оценилось как гестное ведение дела в себе. Пустой ум подростка, конечно, уже опосредовал рост рук и лица.

...Кумулиация — скорость всякого фрагмента, всех фрагментов, она в дальнейшем оказалась равна всем зрителям, потому что она неподвижна...

«...Я, выходя из тени, выходя из кино, изменял, изменял речь в мысли, нажил молчание в русском языке. Я зарастал театром, он стал для меня классом выживания для экстернов. Мой объем разрывал Инкогнито чувством времени. Нарастание пустоты (все мои годы) оказалось плотной комбинацией взаимоисключающего друг другу, но мне

ричилось пружинящее расторжение простого. Свой театр мог быть у Джоренского, подержался я до Вернадского. И нигде не надо поворачиваться, мне и Розанову и, м.б., Мейеру де Шардену. Как в разрыве во мне видна была белая пружина — целостность. Я знал, что знаю я. Память дожидалась наск, боль — живота. Я искал сцену для истока и импульса, для сверхкрупных планов моих глаз, для живописи волос, мас и кожи. Зародилось постоянство тем и импровизации...

...Шриффт рекомендовал, интонации переводчиков становились авторами, авторы становились тире...

...Радикален язык режиссуры. Отмирание памяти на методы «постановок», отказ от записки у актёра навыков, внимание к персональной технике, к дисциплинированному энергетическому выхлесту. След, оставленный событием театра в актёре, режиссер обрабатывает первыми же средствами, которые у него в распоряжении. «Режиссер выскакивает из толпы».

...Из аморфности зарождаются режиссерские темы пространства и времени...

...Незадача актёра делать театр «Да Нет» на пустом месте, предлагая себя авантюристом, на пустом месте отвлекая себя от любого начала непредсказуемостью «продолжения». Актёр «пишет» собственную игру в центре скорости воплощения.

...Болезненная операция отсебления привычных наростов театральности: аскетизм и скудость внешних эффектов — переносима лишь тренированным зрителем, умеющим пропускать чуждую энергию сцены через себя, при величавании в тишину собственного «я»...

...Хотелось бы, согнтая эпохи классического текста песни с режиссерской импровизацией, настаивать на анали-

тичности, исполнению духа, нежели душевности.

...Варьировать пути к мысли. Живописцы адаптировали зрителя к простоте катастроф, зритель в театре импровизацию смотрит как ☉ от ☹. Необходимо отчуждение пространства процесса театра для сближения его с миром.

...Оставяя трудноразличимость граней изнанок, двойность, ракурсность пространства, гротеск дискретности времени при пространственных спекуляциях: интерес обывателя к мифу о Вселенной, о пространстве Архитектора, о пространстве культуры столкнётся с временем изменяющегося пространства, с пространством времени истерзанного актёром, с так называемыми — шибками пространствами. Этот театр не надо принимать за актёрский мейнстрим между театрами. Асимметрия подняла голову в предявлении новой гармонии, перед мимикрией персонажа, времени и пространства — того, что превеличивает человек. В актёре — зародились пространство его времени. В актёре ленивое тяготение к духовному высказыванию предметов. Метод разожжён на адептов театра знака и театра высказывания знаками мотива, их серии в стиле Рихарда Вагнера и попарта чувств. Театр знака замедляет время в общем. Не «бесовские игры пост-модернистских построений», — в гипнозе зрительных наступил и конец века и декаданс, иначе их не стало бы. В расхожем процессе пост-модернизма победили чувственный, сентиментальный, кингловый сюжет; в театре, до мимикрии. Театр локальной энергетикой, лексикона остался ждаться. Сотрудничали театр ясной темы (заклинаний) и театр архетипов в пространстве исчезающего времени актёра. Разрушение и сотворение и.м... И код живого еще не режиссерского спектакля...

...Это я узнал от пленных немцев. Время свободы  
слагается плена. Культура — время свободы.

...Договаривались: человек как мера вещей и его почти  
горизонтальный взгляд в искусстве. Но теперь — он, жест  
к вещи, она над ними, время паузы, энергия ситуации и  
разрыва ее — равно образы сцены. Оглянись раньше игры и  
в игре...

...Плоскости стен дают нам видеть через застекленные  
свети единое стеление. Странен разный минимистский цвет.  
Везде один человек, попевающий в простейшие ситуации.  
Человек окончателен — вошел персонаж и как актер  
обошел сцену...

... Возможно духовное пространство и тесноту  
наружного света согреть визуально. Весело, если  
электрика богатств — оружие души.

...В детстве супрематическая игра сближала город: я  
запоминал знакомых по дверям прямоугольниками и по  
глубине квадратов в них, квадраты перекрестков, их  
крестовины, незнакомцев серпанти, параллелипипеди во  
дворах и кварталах. Был постоянный свет.

...Верхний свет — нравственное принятие космоса. В  
самой напрасности свет есть метод сюжета. Алхимию  
составляет знак света.

...«Могельный театр» — место находимое. Это объем  
и мизансета до прекращения игры. След такого театра  
в архитектурном выеме (в части городского пейзажа) —  
витиеватое пространство, остатки исчезающего времени  
актера. Серийность делает заметней пространства  
прохожих.

...Я подсмотрел в школе «постмодернистскую» игру  
молодого учителя: в «алгебраической» записи  
"ЖИЗНЬ"  
"ОПЫТ"

оя загоркивал «В» и «И», и все равно оставались «ОМ» и «ЖЗЖВ».

...Я в неуправляемом пространстве из-за неуправляемости времени. Иногда из-за отсутствия пространства я изгибаюсь по вертикали во времени. И внешность моя пространственна и мнимая... Это осложнение позволило продлить возраст и легенду...

...Спектакль — всегда новое лицо в глубине храма, но в зрительном зале — мироздание.

...В детстве меня поразила кровь, каплей нашедшая выход из меня. Я ждал подобного — я не общался со сверстниками, а капля выткнулась ко мне и к ним. Затем она выдала великое пространство во мне. Капля затмила мою гордость, знак человека в актере. ...В скорой затем зрелости пантомима-лексикон «Из театральной тишины на языке фарса» стала ТЕАТРОМ, помещенном в спектакль...

...Смерть привлекла к себе ускорением молчания. Признать уход мысли точнее, чем разлагаться свидетельством. Пришло признание смерти как гаси моей энергии, ее образа. Дискомфорт пребывания и комфорт небытия — активация пустого. Как только ты ощутил его, пустое обретает готовность менять формы. Условие, с которым ты определяешь пустое как форму, становится навязчивым содержанием, пустое рекламируется, видоизменяется в зависимости от тиражирования в субъектах, пустое может тиражироваться ими в предметах.

...Искусство ремесел заполняет историческую память, но границей перед ее бездной оказывается ее соперник — беспредел сознания.

...Наблюдателя совершает усилие: себя и испитцелого



проверяет общность, окуная в прошлое. Наблюдатели подозревают, что для актерского «я» в «мы» существует ритм бытия...

...Человек (— камерный театр —) сила подвоя. Субъективное предсказывает мир вне «я» и, двигаясь с ним унисон, вывернет свой внешний мир...

...Несёт, шаг, взгляд, гримаса имеют ход к своим ремеслам, к символическому величию, к своей на подтопках тайне. Все это, к сожалению, подключено, к включенности через человека и существование в них доры контролирует традиционный лицедей.

Мое модернистское восприятие театра уткнуло в постмодернистские годы:

В 60-е годы Борис Мищенко реставрировал Монтеверди и предложил постановку на консерваторской сцене. Во взаимоотношении с людьми, его не устраивавшими, проект завершился концертным исполнением, но я сочинил театр открытого оркестра и сэкономил в страстях и во внутреннем пространстве.

Соломон Волков, пока в ужасе не слел меня ленинградским Тароди, представил меня Павлу Серебрякову как режиссера несостоявшейся камерной оперы, легко был принят проект пяти вариантов одноактной оперы.

На окраине в незавершенной школе я показал кружало Гамлета. 7 замкнутых компаний для 35 зрителей. Спектакль прошел для каждого от его начала.

Машинист смагивал и обрызгивал бумагу под смелость духовника, под впечатлением от обоих виолончелист создавал запаздывающую музыку.

Музыканты, каждому дано задание, следили за рукой.

ногой, обеими ногами, корпусом и головой балерины и сопровождали это в танце, группа джазистов приняла темы классических солистов и сообщила импровизацию. В 1969 году — движущий и голосовой парадокс по пьесе Мюссе «Фронтасио» в театре Эрмитажа.

В 1973 году — разрушение герметичного кабинета и фантомпростые куклы во Львове. Спектакль был закрыт.

В 1974 году спектакль пространственной музыки «Status nasendi» с палиточной (затылками к слушателям) носителями алфавита для солистов в зале. Спектакль повторяли на международном фестивале авангарда в Риге и на творческом вечере композитора в Москве.

Публикация Г.Викулиной



---

---

*Олег Григорьев  
Леонид Аронзон*

---

---

***XXX ЛЕТ***



*Олег Григорьев (1943—1992)*

## ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ

\* \* \*

Отбросив с десятков трупов,  
Некрофаг задержался на мне.  
Взрезал грудь и, сердце нащупав,  
Приготовил его на огне.

Обсыпал перцем и солью  
И с жадностью зубы вонзил  
О, с какой я живою болью  
Содрогнулся, хоть мертвый уж был.

### В ШАНХАЕ

Лечу в Шанхай самолетом  
С шанхайцами и шанхайками.  
Чтоб не выглядеть идиотом,  
Учусь я пищу есть палками.

Ресторан, бумажная аппликация —  
Китаец ест копыто коня.  
Непритязательная ресторация,  
Потянуло туда меня.

Проткнул я устрицу палкой,  
А другой запихал ее в рот.  
Покинули стол мой шанхаец с шанхайкой —  
Всё же, видимо, я идиот.

Принесли мне вилку и ложку  
(Еще не забыли нас в Шанхае!)  
Оставил устриц, заказал окрошку,  
Сажу и с хлебом смачно хлебаю.

### ОГЛОБЛЯ (о гло бля)

Оглоблю я в супе  
Большом утонул  
И Алку поленья  
В картошку набил

В нем все воскресенье  
Червяк поплавок  
А он только чайка  
И меткий плевок

Лежу карусели  
Нева облака  
Кусок день рожденья  
Ее за бока

Мы встали стаканы  
Идут поезда  
Вранье это камень  
Не знаю куда

С тех пор я не верю  
И снял свой сапог  
А раньше-то гаснет  
Как верить я мог?

## ОБРЯД

Свечка упала, качнулся суп.  
Сегодня, как в наказанье,  
Праздник справляет сосед Юсуп —  
У сына его ОБРЕЗАНЬЕ.

Обрежут ножиком крайнюю плоть,  
Бросят в плов и едят.  
Счастье, кому эта плоть попадет...  
Несколько странный обряд.

## МЕСЯЦ

Звезды и месяц купались в реке.  
Удочку крепко держу я в руке.  
Вижу — под воду ушел поплавок.  
Месяц я ловким движеньем подсек.

Круто взметнулся он синим хребтом,  
Звонкую леску отсек, как серпом,  
И улетел, ослепляя глаза  
Вместе со звездами в небеса.



*Леонид Аронзон (1939—1970)*

## ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ

\* \* \*

Как хорошо в покинутых местах!  
Покинутых людьми, но не богами.  
И дождь идет, и мокнет красота  
старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идет, и мокнет красота  
старинной рощи, поднятой холмами.  
Мы тут одни, нам люди не чета.  
О, что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета.  
О, что за благо выпивать в тумане!  
Запомни путь слетевшего листа  
и мысль о том, что мы идем за нами.

Запомни путь слетевшего листа  
и мысль о том, что мы идем за нами.  
Кто наградил нас, друг, такими снами?  
Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами?  
Или себя мы наградили сами?  
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:  
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,  
чтоб застрелиться тут не надо ничего.

\* \* \*

Боже мой, как всё красиво!  
Всякий раз как никогда.  
Нет в прекрасном перерыва,  
отвернуться б, но куда?

Оттого, что он речной,  
ветер трепетный прохладен.  
Никакого мира сзади —  
всё, что есть — передо мной.

\* \* \*

Несчастно как-то в Петербурге.  
Посмотришь в небо — где оно?  
Лишь лета нежилой каркас  
гостит в пустом моем лорнете.  
Полулежу. Полулечу.  
Кто там полудетит навстречу?  
Друг другу в приоткрытый рот,  
кивком раскланявшись, влетаем.  
Нет, даже ангела пером  
нельзя писать в такую пору:  
«Деревья заперты на ключ,  
но листьев, листьев шум откуда?»

\* \* \*

Напротив низкого заката,  
дубовым деревом запрятан,  
глаза ладонями закрыв,  
нарушил я покой совы,  
что эту тьму приняв за ночь,

пугая мышь, метнулась прочь.  
Тогда открыв глаза лица,  
я вновь увидел небеса:  
клубясь, клубились облака,  
светлела звездная река,  
и, не петляя между звезд,  
чью душу ангел этот нес:  
младенца, девы ли, отца?  
Глазами я догнал гонца,  
но чрез крыло кивнув мне ликом,  
он скрылся в темном и великом.

\* \* \*

Вроде игры на арфе чистое утро апреля.  
Солнце плечо припекает, и словно старцы-евреи  
синевородые, в первые числа Пасхи,  
в каждом сквере деревья, должно быть, теперь прекрасны.  
Свет освещает стены, стол и на нем бумаги,  
свет — это тень, которой нас одаряет ангел.  
Все остальное после: сада стрекозы, слава,  
как, должно быть, спокойны шлемы церковей, оплывая  
в это чистое утро, переходящее в полдень,  
подобно арфе и кроме — тому, о чем я не помню.

---

---

*Алексей Цветков*  
*Вячеслав Белков*

---

---

**ОЧЕРКИ**  
**ЗАТОНУВШЕГО МИРА**



*Алексей Цветков*

## **СУММА ПРОПИСЬЮ или НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ**

За вероятную связь с принцессой крови он был услан на каменистый остров, где редкие полудикари пасли тощих коз, а из благ цивилизации еще не было ничего, кроме неумелого сыра. После грустных прогулок он брался за письменные принадлежности, с которыми, впрочем, почти не расставался, и составлял утешительное письмо матери, изнурявшей себя в дальней метрополии хлопотами о судьбе сына.

«Нет в мире никакого изгнания, ибо ничто из сущего в мире не чуждо человеку. Где бы ни возвел ты взор от земли к небесам, все божественное одинаково отстоит от всего человеческого. И пока глаза мои не лишатся этого зрелища, которым не могут насытиться, пока я вижу солнце и луну, пока я могу наблюдать прочие светила, их восхождение и закат, их периоды, изучать причины быстроты и медленности их движения, созерцать звезды, без числа мерцающие в ночи, иные неподвижные, иные кружащие, не ступая на великий путь, в отведенном пространстве, иные внезапно возникающие, иные слепящие взор огненными выбросами, словно в падении, или пролетающие с долгим световым следом — пока я могу оставаться с ними и общаться, насколько позволено человеку, с небесными созданиями, пока я в силах всегда направлять мой разум к высшим и родным мне предметам — не все ли равно, что за землю попирают подошвы?»

Звезды и другие светила были лучшим из возможных утешений, да и вообще единственным, потому что больше с острова разглядеть было нечего. Но звездам отпущено больше времени, а собственное протекало без возврата. И когда напускное мужество изменяло, приходилось слюняво льстить вельможе-вольнотпущеннику, сострадать его семейным невзгодам, потакать его литературному баловству, чтобы обратить в свою сторону медленную милость престола. Так томился на

Корсике Сенека-младший.

Уроженец Кордовы, он к тому же, по причине чахотки, часть юности провел в целительном Египте, где как раз родственник служил наместником. В Рим, на громкие площади, его гнал не зов крови, а слава и власть. Ведь ни чахотка, ни вековая мудрость не помешали приударить за принцессой, будто попроще девушек не было, с которыми весь риск — строго медицинский. Впрочем, это, может быть, только наветы.

Но даже при всех слабостях — а он был еще вполне молод, и победил болезнь дисциплиной и диетой — как винить в центростремительном мире сдвинутого на обод, если сердце осталось в ступице, где смыкаются все спицы дорог, и светила ума в силах брезговать роскошью, лишь утопая в ней? Разве сложить шедевр, когда в слюдяные бельма острова хлещет неодоушевленный ветер? Легче дышать на безвоздушной вершине.

Без малого двадцать столетий спустя я постановил лишить себя воды и огня самовольно, не дожидаясь немилости кесаря. Кесарь оказался тогда крепко занят, ему было не до меня; закусив осетриной в высоком кремлевском тереме, он шевелил перед зеркалом кудрявыми бровями и обмирал от восхищения: «Бач, який хлопчик гарненький вийшов!» У меня зеркала не было, не было и терема его поставить. Я сидел в прогретом террариуме у Киевского вокзала, где мы с Саней Сопровским распорядились по шестой кружке, и чтобы столкнуть с тормозов беседу, он выбрал мне профессию: «А тебе пойдет быть эмигрантским поэтом.» Я согласился, потому что попасть в отечественные уже промахнулся, и даже карьера козопаса вскоре бесславно оборвалась по недостатку бдительности. Через какой-нибудь год я стоял на мосту над Тибром и разевал рот на бесчисленные дива, сослав себя именно туда, откуда накануне выставили Сенеку. «Смотри-ка,» рассуждал я на языке моего северного народа, «и чего же мы так кичились своей Корсикой?»

Здесь стоит прибегнуть к вставной объяснительной записке и разобраться в жанре. Мы давно утратили веру в отражение жизни, и хотя Шекспир именовал поэзию зеркалом, оно —

всегда и неизбежно кривое. Автор художественной пьесы сам задает себе степень кривизны, но мемуарист, если не вовсе циник, подвержен самообману и теряет контроль, полагаясь на свою объективность: параболы не выпрямить, потому что ни у кого не осталось шаблона. Есть выход принять меры и прозрачно переименовать персонажи, чтобы не впасть в недоумение, чтобы оригиналу не взбрело опознать себя в зеркале — например, переставить первые буквы имен (Биосиф Родский, Ледуард Имонов, Багрич Вахчанян — как быть с Сашей Соколовым?) или обозначить всех алгебраическими неизвестными. А проще оставить все как есть, просто признаться в пристрастии. Нижеописанное произошло в одном из отражений.

Я стоял на мосту, не находя соответствий, как горилла из зоопарка, видевшая джунгли только по телевизору (это уже из будущего; где я жил раньше, гориллам телевизоров не полагалось), перекатывая во рту слова из оперного обихода — San-Pietro-in-Vincoli, Isola Tiberina, почему-то Clemenza di Tito, — но остолбеневшее зеркало не узнавало, ему грезились жаркие джунгли бровей до горизонта; да и в том же телевизоре, осчастливив ее общественность, краснопресненская горилла видела бы чаще другое: четыре ноги, два уха, посередине кесарь. Впрочем, вру — были еще кинопутешествия.

Отъезд раздражался гибелью, потому что любимые лица провожающих не предстояло больше увидеть. У Лема на одной из юмористических планет жители, одержимые бесом метафизики, торопились лишить себя жизни, чтобы скорее глянуть в лицо последней тайне. Я был из такого племени самоубийц.

Я очнулся в электричке от Мальяны: напротив женщина в зытертом драпе, молодая и тусклая, громоздила на скамью ребенка. В суматохе упала на пол шапка, но ее подхватил усатый пассажир через проход и вернул потерпевшему. Мальчик, лет четырех, молча нахлобучил убор и пожелал остаться неизвестным. «Dis merci a monsieur!» сказала мать, оказавшись француженкой, но мальчик молчал. «Dis merci a monsieur!» повторила женщина накануне истерики, вся в красных пятнах.

Эта беда, для которой не доставало лексикона, озадачи-



вала. Я мысленно приводил в пример себя: в милосердном пальтеце от Толстовского фонда, с обширным вегетарианским ужином в желудке; в кармане ликовала часовая выручка римского побирušки, эквивалентная десятку литров вина, чтобы вечером обсудить сущее с соизгнанниками в Остии. Нищета, ряженная во все зарубежное, не убеждала, как сытая сказка Горького. Сам я из советского сохранил одни пегие носки. Я сострадал, но лишь воображаемо, словно персонажу произведения. У нас были слишком разные точки отсчета, и только мальчик в грязном колпачке, не внимающий французским укорам, перетягивал противоположную чашу.

Год спустя, по ту сторону Атлантики — «пруда», как ее именуют англо-саксы, — моя мимолетная черствость была отомщена поздним стыдом, я разгадал отраву, пролитую в меня саблезубыми комсомольцами. Наслышанный с младенчества о мнимых страданиях иностранцев, я не поверил подлинным, и человеческое во мне было изувечено даже протестом, потому что в поединке с мраком свет всегда убывает, независимо от исхода. Просить ли теперь прощения у женщины, которая почти не существует, которая, может быть, с облегчением увидела во мне худшего нищего, чем сама? К счастью, это уже почти не моя память, археология личности.

Но глубже и опасней, потому что, задрапированный под высшую праведность, залегал иной пласт обмана, ибо Саня снарядил меня в путь миссионером и эмиссаром, а это автоматически возвысило над социальной обочиной. Там, откуда я задал стрекача, таланту причитались отличия: белая чесучовая пара, встречи с общественностью за счет последней, стакан без очереди в членской автопоилке. Причиталась слава: один, вечный вестовой, вставляет в каждый разговор, что ему чеканили выправку оба нобелевских фельдмаршала; другой, слепец от собственного блеска, в последнем писчем спазме лепит сюжет, как на фоне событий его узнавали в лицо решительно все, а если не сразу, то лишь со скверным умыслом. Уповал ли я вознестись кем-то из этих столпов — или, чему уже был прецедент, освоив гетский, проследить варваров дивной одой кесарю? Чтобы меня, вопреки прецеденту, силком облачали в творческую чесучу, пригибали к государственному

стакану, силком селили в Переделкине, Малеевке, Коктебеле?

Всем отлученным причиталась ностальгия. Ее следовало вплетать терновой ветвью в подобающий изгнаннику скорбный венец.

Но откуда расцвела в русском сердце эта лоза благородной боли, тоска по невозвратным МТС и пасхальным субботникам, по ночному лепету над ржавой сельдью в окурках, по серым железнодорожным пространствам с центробежной козой и «славой КПСС», выложенной из белых камешков стационарным зрителем? Прошлому веку такое было невдомек: Пушкин тосковал преимущественно по загранице; Гоголь и Герцен, Тургенев и Достоевский жили вдали от нежных нив без всяких угрызений, а Щедрин возвращался на родину с несомненной гадливостью. Европа, да и не она одна, сплошь испещрена могилами русских, легко улегшихся в комфортабельную чужую землю, с ее горячей водой и теплыми клозетами. Мне возражают: негоже менять жемчужины духа на нужник. Но зачем возводить это в альтернативу, спрощу я?

Ностальгия стала паролем с двадцатых, когда миллионная толпа, почти безъязыкая, была вытолкнута в Европу и Азию продолжать перевернутую жизнь. Но толпа не роптала, она приноровилась ходить на службу, растить потомство новому народу и обучать тридевятое царство технологии борща и бублика. Тоску по родине она поручила специалистам, но и у тех мнения разделились. «Мы не в изгнании, мы — в послании,» — так определила свою миссию одна из школ. Куда именно мы были посланы, впоследствии уточнил современный миссионер из Коннектикута — более удаленного адреса русский язык не знает. И если, несмотря на категоричность напутствия, некоторые дерзали возвращаться, их мотивы были обычно далеки от возвышенных: из судеб Цветаевой и А.Н.Толстого общего урока не извлечь.

Оппоненты козыряют с Куприна и Бальмонта, но кому страшно? Перо Бальмонта на чужбине высохло, а стакан — напротив, но неужто всерьез печалиться о его ненаписанном, лишнем килограмме, который он добавил бы к прежним десяти? Глядишь — и Россия не обезлесела.

Слово «ностальгия» — тоска по дому и детству — переоб-

мундировали в ателье кесаря и вернули речи в неудобном к употреблению виде; блоха, подкованная русским мастером, больше не скачет. У поляков перелицованное значение возможно, потому что один видный поэт выбросился из небоскреба от любви к родине, но никого из наших на этой траектории не помню. Впрочем, незачем вступать в полемику с привидениями, мне-то от них чесучи не причиталось. Я сижу, проглотив язык, напротив француженки с нищим ребенком, предком будущих нищих, и на лбу высыхают крупные жемчужины духа.

Назад, к Сенеке и Овидию, о ком несомненно и речь. В их латыни не было понятия «заграница»; граница была пределом всего мыслимого, и сослать человека в Шотландию или Германию кесарю на ум не взбрело, как и у нас до поры не ссылают на Луну. Корсика и Фракия были медвежьими углами империи, эквивалентом Сибири. Неизвестно, что рапортовал бы философ матери окажись он в Нью-Йорке или Чикаго.

На автовокзале в Чикаго, в подземелье дневного света, меня высмотрел и подозвал мохнатый бродяга, житель этого улья с бакалейными кошелками до земли, полными имущества. Что-то расположило его ко мне — может быть, мое неприкаянное корсиканство, ампутация адреса, наглядная другому калеке; так непринужденно сходятся горбуны в толпе не отмеченных позвоночных. Этот странник приобрел в станционной рыгаловке два бумажных кофе и, сдобривая его из извлеченной фляжки, потребовал фактов. Может быть, его астральным образом подослал Саня — теперь уже не спросить. Мгновенно, как жрецу неожиданной религии, я излил ему свою судьбу изгнанника муз. Странник вкратце обдумал исповедь, воздел перед моим носом хлебнувший горя палец и прорек: «Пройдет десять лет, и о тебе услышит вся Россия. Ты станешь там большим человеком. И тогда припомни, что предсказала тебе чикагская мартышка.» Так, видимо, именovali в Чикаго людей этого рода занятий. Я оцепенел, глядя в приотворенное будущее. С подземных сводов низвергались каскады электричества.

Миновало десять лет, а теперь уже и все пятнадцать. Впра-

ве ли я повторить за любимым героем: «Россия меня знает»? И что мне именовать Россией? Мысль, что жизнь не просто проходит, а сбывается, освещает душу ярче электричества, но предсказывать, как уже замечали, трудно, особенно будущее.

Я пишу эти строки в номере безымянного мотеля в предместье Милуоки, куда угодил, продвигаясь инкогнито (Америка меня знает) из пункта А в пункт В. Город строили немецкие колонисты, внедряя излюбленную отрасль индустрии, которая дала имя и бейсбольной команде: «Пивовары». Но хозяйка караван-сарая — сербка; разглядев мюнхенский адрес, она сказала: «Фамилия-то — русская.» «Правильно,» без заминки ответил гость. «Я — американец.» Пошарив в телевизоре, гость наткнулся на сербскую программу — нечленораздельно знакомая речь, титры кириллицей — вот и разгадка всему поселку. Эти люди в благополучных коттеджах, со стриженными лужайками в фейерверках рододендронов, с баскетбольными корзинами на коньках гаражей, что думают они о массовом забое человеческого скота на бывшей, в обоих смыслах, родине? Что им именовать Россией?

На экране — кровь. Враг, безразлично чей, говорит на твоём языке, слово в слово.

Тогда, после сеанса с прорицателем, я поселился в бассейне Великих Озер и посвятил себя славянской филологии. Полушария рассудка поменялись местами: прежняя жизнь стала объектом науки, села на булавку, нырнула в формалин, легла на стекло микроскопа, а ее вакансию заняла другая, бывшая раньше лабораторным скелетом, но теперь обросшая молочной плотью, сквозь которую лишь рентгеновский глаз специалиста различал вчерашние кости. Посланцу дорогомилловской стекляшки пошло быть эмигрантским поэтом, и он увлекся. Нет, я ничего не забыл — напротив, я тем ожесточеннее рылся в памяти, что она была уже как бы не моя; так, может быть, недоуменно встречается пожилая змея со сброшенной юношеской шкурой. Пробуждаясь мичиганской ночью ото сна, в котором сновали персонажи навсегда запечатленных событий, я растерянно вслушивался в их речь: все до единого, вплоть до коменданта общежития и очереди за квасом, теперь говорили по-английски. Речь, стекая с языка,

становится фантомной биографией; я проецировал в опустевшее прошлое новое детство, рождественские радости в каминном чулке, гулкой сумрак церкви с протестантскими гимнами, придорожную торговлю детским лимонадом, чернобелые телеидиллии пятидесятых, выстрел в Президента, школьный бал с выборами королевы, еще выстрелы, каноническое «прощай» невинности на заднем сиденье «паккарда», а не на лавочке ночного детсада или в парадной, смотря по сезону, как принято у них. Что еще? Душная пойма Меконга, джунгли в зареве напалма.

Распечатав очередное письмо Сани, я прочитал в нем отречение: он прочил меня в эмиссары, а не в колонисты. *Going native* — профессиональный недуг миссионера, непереводаемая идиома; приблизительный эквивалент — «отуземливание».

Оксфордский лексикон английского языка насчитывает свыше пятисот тысяч слов. Самый полный русский — в несколько раз меньше. Пропорция неверна: канцелярия кесаря работала исключительно в жанре указа, и словарь был одним из них, он не собирал, а предписывал. Как бы то ни было, образцы непереводаемых терминов хрестоматийны, и за словом в карман чаще приходится лезть славянам. Пора сквитаться: вот два никем не запатентованных примера, которые в английском не на что разменять: «родина» и «народ». Для первого есть неуклюжие приближения, *fatherland* или *motherland*, которых никто в здравом уме и вкусе не употребляет, а расхожее *hometown* лишено всех строевых и слезоточивых качеств, излюбленных Гитлером и гражданственной «Родной речью», оно применимо даже к бабочке или опоссуму. Слово *people*, хлипкий перевод «народа», фактически значит просто «люди». Нет никакой возможности втемяшить американцу разницу между «русскими людьми» и «русским народом», равно как и то, что некоторые из первых страшно далеки от второго и не вправе претендовать на членство в нем. Из американского народа (бредовый гибрид) может выйти каждый, но никто не вправе исключить третье лицо.

Из окна сербского мотеля, на окраине немецкого города в штате Висконсин я бестрепетно гляжу в наставленные стволы, сознавая, что это бессилие английского мне еще милее, чем

его достоинства и богатства. В грустном мире границ и наций я встречал сотни удивительных людей, и многие уснащали речь звуками «ы» и «щ», непосильными чужой фонетике. Но народ я видел лишь однажды, ребенком на первомайской демонстрации, и мы не понравились друг другу, а родина навсегда останется свирепой мордой лагерной надзирательницы с плаката — она звала, но я заткнул уши и вышел вон. Я не пыжусь от ее достижений, довольствуясь скромными собственными, а история, будь она автобиографией, мобилизует на визит в чулан с веревкой и мылом. Мне твердили, что Москва — третий Рим, а первому — не бывать; но я проехал от Остийской гавани к пирамиде Цестии и убедился в обратном. Спросите Рим: хочет ли он быть второй Москвой?

Английский писатель однажды высказался в том смысле, что если бы перед ним встал выбор, предать друзей или изменить родине (в оригинале «стране»), он просил бы у Бога сил сохранить верность друзьям. Нет ничего проще. Но друг не одобрил выбора, он письменно отчитал меня из прошлого полушария, и я остался один. Вокруг жили и умирали люди, но с народом «Родной речи» пришла пора расстаться: уходя — уходи.

Рухнул кесарь, зеркало расколосось. История интригует неутомимой способностью повторяться. Временщики тщились склеить непослушное стекло, но запасы клея иссякли, и тогда новый недолговечный династ плюнул, растворил темницы и вернул изгнанных из Фракии. *Clemenza di Tito*.

Не поручусь за бабочек и опоссумов, но я воспользовался слабостью власти и посетил прежний ареал своего распространения. Там я обнял дорогие призраки, плоть полуночных воспоминаний, и мы объяснились не по-английски, а со всеми подобающими «ы» и «щ», и если прибегали к лексике, не предусмотренной иностранными словарями, то это были скорее энергичные русские глаголы, чем что-то другое. Самоубийство не состоялось — надо ли уточнять, что к счастью? И все же, отводя глаза от ненаглядных лиц, я не находил им поживы узнавания, я оказался в ином мире, не хуже и не лучше других, но ни в одном из прежних. Был дом, но его закатали под рыночную площадь. Была река, но в нее не

ступить дважды. Там, за пьяным столом внезапного свидания, мне открылся секрет ностальгии: пространство, как и время, имеет свойство исчезать, когда его покидаешь. Возвращаться «туда» — так же бессмысленно, как возвращаться «тогда». Уходя — уходи.

Но я не поверил, и предпринял еще одну попытку, в обратном направлении. На трудолюбивом прокатном «додже» я одолел пенсильванские холмы и бритые равнины Огайо, промчался под транспарантом — «Да! Мичиган! Добро пожаловать!» — и выкатился на Уоштено, дал крюка на Норт-Энн, где протекало фиктивное рождественское детство, на Северную Пятую с негритянской церковью, которую сотрясало воскресным хоралом, повернул на Стейт-стрит и уплатил подать автомату на чудом свободной получасовой уличной стоянке. С башни университета сыпалась серебряная пыль курантов, но это было последнее из узнаваемого. Неведомо куда смело былых букинистов, непритязательный «Сад Вакха» с греческими разносолами и кислым красным, кафе, где нашу компанию с Северной Пятой оглушал металлом Митч Райдер; на местном психодроме Дайаг уже не слонялся с губной гармоникой хитрый негр Шейки Джек. Город стал ярче и товарнее, но мое прошлое вычеркнули, гостя оставили стоять на чужбине, с распростертыми для отмененных объятий руками.

Взгляд споткнулся о вывеску книжного магазина «Бордерс», где осело немало скудных долларов, и меня потянуло магнитом. На развале у входа я порывлся в уцененных остатках — обычные сто рецептов вегетарианских сэндвичей, исповедь очередного йога, сборник комиксов «Графство Блум» о приключениях пингвина Опуса и кота Билла с предисловием Михаила Горбачева...

??

Я отворил обложку, и со страницы ласково и строго, как из рамки утреннего трюмо, глянул портрет милосердного Тита, объяснившего на бойком английском свое отношение к пингвину и коту — положительное, потому что уплачено, и где-то против суммы прописью навсегда стоит некогда высочайший автограф. Вспомнилось, что Диоклетиан на старости

лет удалился возделывать капусту, но нигде не указано, чтобы он возил ее на рынок. Труден поздний денарий кесаря.

Фыркнул мотор, и я покинул город, где так и не сумел побывать.

Все случается только однажды и никогда больше. Нетерпеливый философ прибывает с Корсики не в курию или на форум, а в малярийные болота, где уцелевший житель растаскивает камни Септы на обустройство свинарника. Камилл возвращается вести войско на Вейи — и с изумлением пялится на гротескный мемориал Виктора-Эммануила, мраморное подобие «ундервуда».

Рим — это первый Рим, а второму не бывать.

Кто вернется за нас, не нашедших двери, которая, кажется, еще минуту назад была здесь, но теперь — глухая стена? Пока мы тыкались в углы, стемнело, и этих потемок не растворить даже вечным светилам Сенеки. Нас еще пытаются дозваться, но мы не возьмем в толк, откуда, а те, зовущие, сослепу принимают нас за кого-то другого. Моссовет возводит палаты пришельцу из прошлого, воздает честь кирпичом и дранкой; хорошо ли будет ему в стране, которой никогда не было? Не стану спрашивать, чьи у Моссовета деньги — гражданам, видимо, не нужно, уделили от избытка.

Я стою у зеркала в странноприимном заведении бывшей сербки, посреди бывшей прерии, одетой в бетонную и стальную порось, под трассирующими огнями ледяных звезд. Отражение кончилось, но с той стороны стекла всё еще беззвучно вопрошают, и я угадываю по губам, которые метр назад были моими собственными: Россия? родина (в оригинале «homeland»)?

И я отвечаю утвердительно. Может быть, память уже не та, что была перед дорогой, ее занесло пылью и прелой листвою, но она проснется, а пока есть свидетельства очевидцев, запечатленные пером, залог возвращения, и надо вчитываться, чтобы когда-нибудь совпало:

«Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта... Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу... А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной



жемчужины. Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло... Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираются днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов.»

Там, у жемчужных ворот, я сложу наземь свой американский паспорт, мичиганский диплом, чесучу переделкинской кройки и лавровый чепец Моссовета. И не будет ночи, и в свете вечного дня я обниму моих соотечественников: нищенку в слезах из римской электрички, говорливого оборванца из чикагских катакомб и остальных любимых, с кем не успел свидеться — они уже собрались, весь мой народ, из Вуковара, Сребреницы и Горажде. Мы примемся говорить, и не наговоримся, но времени хватит, потому что день никогда не кончится. А затем, вместе с опередившим Саней, который понял и простил, пройдем, узнавая, по знакомой улице — из чистого золота, подобной прозрачному стеклу.

И не будет ночи.

*Вячеслав Белков*

## ФИНИКИЙСКИЙ ХУЛАХУП

*Грядущее светлое завтра.*

Через час заревут фабричные трубы. Трудовой народ просыпается. Репродуктор щёлкает и молчит. За стенами тёмных жилых домов трезвонят заводные будильники. Оранжевый абажур с кистями, тень от него на потолке и стенах серого цвета. Кочерга у железной, полукруглой, радиаторной печки — буква «Г». Часовые великой родины начеку. Мёртвый сон могучей страны. Ночной бомбардировщик пролетал над городом. Первая смена рабочих встает по гудку.

Мы живем под чердаком.

Между окон гроздь рябины на вате. стакан в жестяном подстаканнике с рельефным орнаментом и выпуклой звездой. Между тазами на кухне, на гнупе гвозде подвешен пудовый ключ от чердачной двери. Стена кухни до половины покрыта известкой, от середины покрашена буро-зелёной масляной краской, кант синий. Вечером будет драка. Ночью приснится сон. Летом ловят мальков, головастика и тритонов. Песня «Москва — Пекин». За окном повисли дымы. Изнывающий гул «летающей крепости». Трясется буфет, звякают рюмки и полоски стёкол на дверцах. По льду рек ходят люди. Вяткин с Манюней был лилипутом.

Лютует классовый враг,

ветер гуляет в открытых вольерах зверинца. Жилья не хватает, мачехи с дочерьми спят «валетом». Дворник фанерной лопатой пробивает дорожку в снегу, наледь сбивает скребком. К проводу лампы привязана лента «липучка» для мух. На

тумбочке, под бронзовым пресс-папье, квитанция на дрова из жилконторы. На розовой промокашке сиреневые кляксы и закорючки. Статуэтка горного орла на этажерке возле копилки-свиньи. Трехпроцентный, пятипроцентный, золотой заём. Поголовная подписка на негашёные облигации. Говорят: Можно выиграть сто тысяч рублей! У заводного мишки сломалась пружинка и потерялся ключик. Честным людям денег не нужно. Деньги дарят казне!

### Набор шоколадных конфет в РОСКОНДЕ.

На картонной коробке Иван-царевич на сером волке везет Василису по чёрному лесу. Фигурные плашки, шайбочки и финтифлюшки в бумажных розетках. Казённая фуражка с синим околышком. Китель особиста. Ледяные сосульки срываются с крыш, стекляшки хрустят под ногами, со звоном раскатываются по панели. Джульбарс — немецкая овчарка, но *наша* собака! Липкое *монтаже* разного цвета громыхает в кармане.

### Под мышкой ртутный термометр.

Кефир в три часа ночи для *успокойничков* в карантинной палате. Карболка. Горячечный бред — БЕРЕ ЗИМНЯЯ Мичурина — черенки, пестики и тычинки. Прививки от кори и оспы. Перекрёстное опыление. Вот-вот зацветут дифтерит, скарлатина и коклюш! Штабеля дров во дворе станут ниже. Среди полениц играют в прятки и в войну. Хулиганы духарятся и ныкаются от мильтонов. В Фонтанке проржавленной провололочной сеткой ловят «кабзду». Плавают прогулочные лодки. Удильщики на мосту. Толкутся советчики и наблюдатели. В дно вбиты сваи. Единоличные моторки и плоскодонки верёвками и цепями приколоты к кольцам или к решётке набережной. Проезжая часть на ремонте. Наносы и кучи песка, на разбитой выщербленной брусчатке. Трофейный Харлей с коляской движется с пируэтами. Свернул в переулок и под-

прыгивает на булыжниках. Принято матюгаться. Пацаны от скуки пускают «блинки».

На окнах фикусы.

Герань, пальмы в кадках. Занавески бриз-бриз, ришелье и маркизы. Орхидеи с пельменями! Галоши с красной подкладкой — сдавать в гардероб! Врач ЛОР с портфелем и тростью. В киношке, перед сеансом, эстрадный концерт. Мороженое течёт. Фотографировать на мостах и башнях запрещено! Якорей не бросать! Вставные зубы, челюсти, руки, ноги, корсеты, протезы, куклы. Надпись на железной табличке: Гофре, плиссе. Врач-венеролог. Плакат — Поцелуй Чаниты. Голубая мечта: Перламутровый театральный бинокль или ручная черепашка.

В Неве водилась *колюшка*.

Сады и парки для гуляний. Лодочные станции, качели, эскимо, силомер. У всех мужчин — складные ножи. Закуска — солёный огурец и селёдка. Вредный элемент. Иду по улице за поливалкой. Сдача крови, членов, костей. В зоопарке белый медведь, пирожки с *сагой*, карусель и детёныш слоники. Кристые зеркала в «комнате смеха». Гражданской авиации не было! Парашютная вышка у «Великана». Спасательный круг для трёх человек. Гражданка в ботах с кошёлкой. Стрельбище. Утиль-сырьё. Тир.

Суп горох.

Золотые коронки штабиста. Наследие тёмного прошлого. Отборный мат. Картофель в «мундире». Большой начальник! Стрижка под горшок, под полубокс, ёжик, бобрлик, под ноль. Руководители в бурках, бекешах и галифе. В папахах. Юннаты, тимуровцы, корчагинцы, стахановцы едут в столицу на

слёт. ВЭДЭЭНХА. Хурма похожа на яблоко и помидор. Бьют тюленей, котиков и китов. Гарпунная пушка на носу китобойного судна. В гастрономе шпроты и пирамиды крабов. Икра красного цвета. Ложка рыбьего жира перед обедом. Крым. Лим-по-по. Жемчужина черноморского побережья. Всенародная здравница. Кузница здоровья, юг. Ученые открыли палочку Коха. ЗИС-111 развивает скорость 115 км. в час. Белые фарфоровые слоники разного роста. Запечённая утка с мочёной брусникой. Деревянная форма для пасхи, кутья на поминках. ФЗУ. Ремеслуха. Стерва. Стерлядь не ругательство, а рыба! Банка рыжего гуталина. Одна сушка — копейка, или коробка спичек. Хризантемы — цветы на японском халате! У крестьян паспортов нет! Махровая матерщина. Паханы «держат мазу». Хозяйки к празднику моют окна. С войны не вернулся никто!

#### Развелись дармоеды.

Сидят на шее. Сазана ловят в бассейне сачком. Судака колодушкой по голове. Оглушат, и она засыпает! Свиные ножки на холодец. Бездомные, погорельцы, сироты. Бродяжник с аккордеоном поёт во дворе куплеты. Монетки, завёрнутые в бумажку, кидают из окон на двор. Мальчуган-беспризорник милостыню собирает в шапку. Странствуют «божьи люди», оракулы-крикуны, слепые пророки, скрипачи и цыгане. Старьёвщики. Стекольщики с ящиками через плечо. Вырезвителей не было. Пьяные валялись на улицах, вечером развезжали машины милиции и подбирали всех, кто лежал. 12 часов ночи. Шум Красной площади. Гимн со словами. Бой часов.

#### Утро, мясные бульонные кубики.

Проводка с фаянсовым штепселем. Ходики с киской, у киски бегают глазки, на цепочке две гирьки. На обрывке обоев клоповник. Импортные полусапожки «румьнки». Пленные немцы в мышинового цвета мундирах, с алюминиевыми пуговицами и

орлами. Продают ребятишкам за «брудер» — рукодельные зажигалки, копилки, кораблики, домики, портсигары. Ночью: блатные проиграли и кокнули своего. СМЕРШ. Марш Черномора. Общее поветрие — поиски кладов и поделки из отходов. Общие плиты на кухнях. Грампластинки «РЕКОРД». Слова со значением. Подарок «со смыслом». Шпана шустрит, легавые рыщут, гопники духарятся. ОСОАВИАХИМ. Кореш в бушлате, вокруг него вьются салаги. Голубятники устроили потайные притоны на крышах. Свистят. Гоняют стаи турманов и сизарей над домами. Внизу инвалид на тележке с колёсиками, с папиросой в зубах. Москвич М-12, две Победы подряд, фольксваген с шишкой на капоте. Родители отвозят в ЗИМе на дачу богатую девочку. Вопль: Точить ножницы-мясорубки! Собралась колда. Первому, кто войдёт в подворотню, сразу дадут подзубатник!

«Крутить здесь!» — звонок-вертушка.

Иваниным — раз, Судниковичам — два, Доморадским — три, Шлоеву четыре раза, Красилову — стучать! На форменной школьной фуражке с костяным козырьком — буква «Ш». Сторожиха из первой квартиры шуршит за дверь, зыркает в замочную скважину и слушает всех. Пахнет «Шипром». Ибрагим натирает ремень зелёной полировочной пастой, правит лезвие бритвы. «ШИК». Сивуха. Свежий дух от рассолоника. Арабский вспоротый мяч. Визги, гогот и ржанье. Польшнул и стгорел целлулоидный шарик от пинг-понга. Едкий вонючий дым. Чёрный подвальный фонарик. Фонарик — «жучок» или жужжалка с «динамой». Появились китайские с крутлыми батарейками, сигнальной кнопкой и рефлекторным отражателем. Деревенские наезжают в город, станоятся курсантами или рабочими. Городские более развиты, но важничают. Везде — шпионы. Ром-баба, Равель, сухофрукт! Коричневая мастика разводится кипятком! Борьба с вредительством. Хлорка. ЧК. Медный купорос. Нафталин от моли. Павлик Морозов. Бриолин. Пистолет «ТТ». Танец с саблями в исполнении государственного симфонического оркестра.

Вокзальный цинковый бак с краником «гор.», «хол.». Краник соединён с кружкой цепочкой. Дожлую интеллигенцию разбавляют коренным населением. Прусаки. Титан дю-ралевый с кипятком. Проститутки у «ТЭЖЭ». Выпиловка лобзиком. Явка с повинной, опер с повесткой. Снабженец с химическим карандашом за ухом. Дворовые драки. За 8-й, 9-й, 10-й классы нужно доплачивать. Гирлянды колбас и сосисок. Гроздья перепелов и рябчиков в перьях. Райские птички! Сводка погоды — радио КОМИНТЕРНА. Танк «КВ». Мясные туши на крючьях. Девочки и мальчики в отдельных классах. «Рыба живая».

Челюскинцы на льдине.

Юность Максима. Свинарка и пастух. Возвращение Максима. Девушка без адреса. Пулемёт «максим». Весёлые ребята! Ледокол Седов, папанинцы. Ледовое побоище. Психическая атака белых. Северный полюс-5. Кольцо 25 трамвая — ЦПКИО. Шкет в жёлтой бобочке и тюбетейке свалился с «колбасы» на рельсы. Коленки в зелёнке. Пол-литра и маленькие в любом киоске. Запечатано горлышко сургучом, красным и белым. Иногородние выбиваются в люди. Коллекция сушёных бабочек, стрекоз, навозников, божьих коровок. Укрепляются кадры. Махорка. Норд, Рот-фронт, Казбек, Беломор-канал, Красная звезда. Авангард. Раб. класс. Добровольное общ.-во членов ОСВОДа. Прослойка соц. служащих и алиментчиков. Футбольный матч на Кировском. Счёт ничейный. Скулы сжаты. Рот на замке. Наша победа — военная тайна! В микроскоп видно микробов. Храп с перегаром. Колотун. Огуречный раскол для опохмелки. С земли виден космос.

Тот, кто соберёт 1000 копеек, тому в магазине подарят патефон! Туфли «бореточки». Лёгкие туфли из парусины. Сандалеты, штиблеты. Банные чемоданчики. «Бомбовозы» и стукачи. — Дамочка, я за вами!.. —

Гражданин, отстаньте! В продаже трусы с китайским начёсом. Кровать с никелированными шарами пружинная, полутора-двухспальная, на роликах. Трусы синие, сатиновые «семейные». Продукты все натуральные: комоды, трельяжи, сундуки, самокат на подшипниках. Чернобурка через плечо, коньки «снегурки» верёвкой и чуркой примотаны к валенку. Фильдеперс. Крепжоржет. Крепсатин. Маркизет. Крепдешин. Шёлк. Лиса. Вельвет. Кенгуру — австралийский город.

Солнечная страна Албания.

Дарвин придумал теорию о том, что человек произошёл от макаки. Куртка «москвичка». Санки финские. Плед *шотландский*. Турецкая *аттоманка*. Гольфы-штаны с пуговицей под коленом. Планшетки вместо портфелей. Кислородные подушки в аптеке. Домработница с профессорской собакой на прогулке. Квартирантка-приживалка. Слепые в чёрных круглых очках. Кошек били камнями. Дворники вызывали живодеёров. Телеграммы «молния». Сургучные печати и пломбы. Товары с квитком. Пиво «Золотой ярлык». Бюллетень — «все на выборы!». «Кровь за кровь». «Ушла на базу». Душились одеколоном Шипр, Красная Москва, Эллада, Кармен.

Наступило новое время.

Изобрели телевизор КВН. Шутка: Два болта с серой от спичек или ключи на верёвке с зарядом нужно стукнуть об стену! Бумажные бомбы с водой. Шарик из жёваной промокашки и духовые трубки. Чернильницы-непроливайки. В охотничьем магазине — капсули. Линзы с дистиллированной водой. В городе жили в основном ленинградцы. На перекрёстках регулировщики. Светофоров было мало! Всех принимали в пионеры.



Строились по росту.

Акробатический этюд — «пирамида», под барабан. Распространены дворовые игры: фантики, чика. Шпингалеты отбивают от стенки битку и замеряют пальцами расстояние до стопки монет. Изводятся в маялки — кто большее количество раз поддаст ногой скрученную тряпку. Пёрышки, ножички, бутылочка. Въезжает машина — санэпидстанции. Малявки играли в лапту, дочки-матери, казаки-разбойники, Штандр-стоп, али-бабу, прятки, пятнашки. Мельтешат младенцы в песке. Стучит мяч, крутится скакалка, чиркает по «классикам» черепок. Летом по улицам разгуливали мужики в сетчатых майках и в шляпах. Народ забивал козла.

На велосипеды повесили номера.

Кормовых и прогулочных голубей в городе не было. Снегири залетали. Собаки только служебные и большие. По квартирам метались агентши госстраха. Из бочек на улице пили квас. Дома — из банки, прикрытой марличкой, пили «гриб». На празднике 1 мая у оград, возле стен и на всех перекрёстках торгуют старушки, цыгане и мужички: раскидаи, вертушки, свистульки, птички, уди-уди, хлопушки, ленты, флажки, шарики, петушки, «тёщин язык», букеты из пёрышек, деревянные акробатики, фонарики, гирлянды, китайские веера. Румяные нахимовцы в клешах. Семечки в фунтиках. Фиалки, ландыши и подснежники. После гулянья садились к столу. Веники липы ставили в воду. Раковые шейки и барбарис лежали в вазах горой. Поднимали тосты. «За мир!» — стоя. Закуску — сидя. «Кто смел, тот съел». Пир. Молокососы лакали приторный лимонад.

Запущен на орбиту искусственный спутник земли.

Последние известия начинались с его позывного сигнала: пипи. Зелёный индикатор настройки — светящийся «волчий глаз». Радиолы: Сакта, Люкс, Фестиваль. Чуваки и чувихи

пасутся стадом. Белые чулки. Изумляют взор иностранные шмотки. На ногах у женщин капрон — паутинка и сетка, беж-коричневый-чёрный, со швом и без шва. Причёски: с начёсом, я у мамы дурочка, конский хвост, приходи ко мне в пещеру. Волосы зелёные, фиолетовые, белые после перекиси. Разбитные юбки. Исчезли боты из СЕЛЬПО. Есть марафет! Девич можно кадрить! Фраера. Требуются строительные рабочие всех специальностей. Кору с носами за 9 рублей. Плащ «болонья». Растёт поголовье скота. Галстуки с пальмами и попугаями. Стиляги на микропорках в «ду-ду», с коком на голове. Увеличился надой молока... вал на душу населения. Шпильки и лодочки. Пижоны в цветастых ковбойках — пятна, полоски и ромбы. Фланерили на стритах и бродах. Шатались. Вечерами топтались на плясе. Жались в кустах и лизались. Ходили в гости друг к другу крутить пласты. В центре — фонтаны и танцы. На аллеях гипсовые фигуры, доходяги и алкаши. Урожай в закромах родины! Работники сфер рапортуют... Сигареты Нева, Аврора, Памир, Ароматные, Астра, Ментоловые. Поднята целина! Очередь в мавзолей. Бал. Праздничное торжественное собрание.

Бути-вуги, рок на костях.

Драма Афиногенова. Депутат в АГИТПУНКТЕ. Тройка -- с золотым обрезом, Друг — с золотой полосой. Белый болгарский Фильтр. Джебел. Коробки гаванских сигар. Сухач — кислое пойло. Бодяга. Кукуруза — царица полей! ...Один талантливый московский поэт. Считаются неплохими «Солнышко» и «Шипка». Самиздат. Библиотеки. Курилки. Фолкнер. Фрейд. Кафка. Камю. Кофе. Кухня. Сборник научной фантастики. Эпидемия полиомиелита. Хрущ. Хлебоуборочная страда. Показательный процесс в Ленинграде. Серый хлеб на прилавках. Новые микрорайоны. Повсюду психушки и сторожа. Лесоповал. 20 мегатонн. 50 мегатонн. 100 мегатонн. Во всех окнах горит «голубой огонёк». Сушёная тюлька к пиву — элементарная физика. Атомщики и ядерщики. Скука! Шуров и Рыкунин, потом Новицкий смешили народ. Мир-

нова и Менакер. Рудаков и Нечаев. Тарапунька и Штепсель.  
Братва! Впереди — бесконечная клюква. Синий фитиль под  
глазом. ГОСТ. Бытовая тоска. Коленкор. Летний сад закрыт  
на просушку. Сумерки.

Уминая финик, верчу хулахуп.

*дек. 1979 г.*



## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХОВ «КАМЕРА ХРАНЕНИЯ», ВЫПУСКИ СО ВТОРОГО ПО ПЯТЫЙ

### СТИХИ

Сергей ВОЛЬФ, стихи	II	с. 95
стихи	III	с. 8
стихи	IV	с. 68
стихи	V	с. 11
Гали-Дана ЗИНГЕР, стихи	IV	с. 77
Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ, «Новые стихи»	II	с. 7
«Восьмистишия»	III	с. 25
«Новые стихи»	IV	с. 60
Дмитрий ЗАКС, стихи	II	с. 52
стихи	III	с. 68
стихи	V	с. 36
Дмитрий КОЧУРОВ, стихи	II	с. 135
Ольга МАРТЫНОВА, стихи	II	с. 201
стихи	III	с. 19
«Сумасшедший кузнечик», стихи	IV	с. 120
стихи	V	с. 22
Евгений МЯКИШЕВ, стихи	II	с. 131
стихи	IV	с. 130
Александр ОБРАЗЦОВ, стихи	III	с. 129
Олег РОГОВ, стихи	V	с. 32
Алексей ЦВЕТКОВ, «Два стихотворения и перевод»	III	с. 74
Елена ШВАРЦ, стихи	II	с. 137
«Рождественские кровотолки», поэма	III	с. 137
«Гостиница Мондэхел», стихотворение	IV	с. 155
Олег ЮРЬЕВ, «Записка на погоне и другие стихотворения»	II	с. 147
«Стихи и хоры»	IV	с. 9
стихи	V	с. 17

### ДРАМАТУРГИЯ

Михаил УГАРОВ, «Русский Инвалид» за 18 июля...»	IV	с. 84
---	----	-------

## ПРОЗА

Нина ВОЛКОВА, «Маша и медведь»	IV с. 20
Леонид ГИРШОВИЧ, «Рождество»	II с. 165
Владимир ГУБИН, из цикла «Бездорожие до сентября»	III с. 28
из цикла «Клубок аномальных метафор»	IV с. 133
«Илларион», глава из романа «Илларион и Карлик»	V с. 43
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ, рассказы	II с. 69
Асар ЭППЕЛЬ, «Сладкий воздух», рассказ	V с. 106
Олег ЮРЬЕВ, «Прогулки при полой луне», рассказы	III с. 79
«Игра в скорлупку», рассказ	V с. 70
Сергей Юрьенен, рассказы	II с. 38

## ПЕРЕВОДЫ

Том ГАНН, стихи (пер. с англ. О.Мартыновой, О.Юрьева, Д.Закса, С.Степанова)	II с. 218
Макс Жакоб, стихи (пер. с фр. Аллы Смирновой)	II с. 226
Макс Жакоб, стихи (пер. с фр. Аллы Смирновой)	V с. 91
ПОЭЗИЯ НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА. (Георг Тракль, Георг Гейм, Макс Герман-Нейссе, Вильгельм Клемм, Альфред Лихтенштейн, пер. с нем И.Большева, А.Прокопьева, Б.Скуратова)	III с. 145
ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ (Уоллес Стивенс, Роберт Фрост, Харт Крейн, Роберт Пенн Уоррен, Т.С. Элиот, Эзра Паунд, пер. с англ. Алексея Цветкова)	IV с. 160

## XXX ЛЕТ

Леонид АРОНЗОН, «Из опубликованных стихов»	V с. 112
Олег ГРИГОРЬЕВ, стихи	III с. 157
«Из неопубликованных стихов»	V с. 109
С.В.ПЕТРОВ, стихи	IV с. 177

## **БОРИС ПОНИЗОВСКИЙ**

Борис ПОНИЗОВСКИЙ,  
«...О постмодернистских навыках...», эссе V с. 99

## **ОЧЕРКИ ЗАТОНУВШЕГО МИРА**

Дмитрий ЗАКС, «Еще раз к вопросу о фантиках» IV с. 196  
Вячеслав БЕЛКОВ, «Финикийский хулахуп», V с. 131  
Борис ХАЗАНОВ, «Язык» III с. 178  
Алексей ЦВЕТКОВ, «Сумма прописью или  
ненужное зачеркнуть» V с. 119  
Сергей ЮРЬЕНЕН, «Милая мама» IV с. 190  
Асар ЭППЕЛЬ, «Худо тут» III с. 187

## **ЭССЕ**

Борис ХАЗАНОВ, «Мост над эпохой провала» II с. 235

19  96



# Клуб „Русское кино“

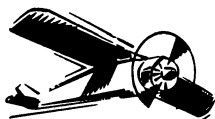
Художественные фильмы \* Музыкальные программы  
Мультифильмы и сказки \* Телесериалы  
Русская эстрада и классика \* На CD-дисках и аудиокассетах  
Словари по различным отраслям знаний  
Спутниковые антенны для российского телевидения

Наш каталог Вы получите бесплатно  
Ваш заказ Вы можете легко сделать по телефону:

**069 / 430342**

с 9.00 до 21.00 или по адресу:

**Belenkij \* Windeckstraße 62 \* 60314 Frankfurt**



## Reisebüro Belenkij

Ваш надёжный партнёр

**Деловые полёты**  
**Отпуска на лучших курортах**  
**Дёшево и надёжно**  
**В кратчайшие сроки**  
**В любую точку мира**

**Особо льготные тарифы в Казахстан, Россию,**  
**а также другие страны СНГ и Балтики**

**Билеты на все существующие рейсы, связывающие Германию**  
**с Россией, Казахстаном, другими странами СНГ и Балтики**

**Мы откроем для Вас визу в любую**  
**из вышеназванных стран**

**Reisebüro Belenkij \* Windeckstraße 62 \* 60314 Frankfurt \* Tel. 069 435529**



## КНИГИ АССОЦИАЦИИ “КАМЕРА ХРАНЕНИЯ”

**Камера хранения. Четыре книги стихов.** М., 1989, 208 стр.

Поэтические книги:

Олег Юрьев. Стихи о небесном наборе.

Ольга Мартынова. Поступь январских садов.

Дмитрий Закс. Прекрасных деревьев союз.

Валерий Шубинский. Балтийский сон.

**Камера хранения. Выпуск второй.** Спб., 1991, 256 стр.

Литературный альманах.

**Камера хранения. Выпуск третий.** Спб., 1993, 222 стр.

Литературный альманах.

**\*Камера хранения. Выпуск четвертый.** Спб., 1994, 208 стр.

Литературный альманах.

**\*Камера хранения. Выпуск пятый.** Спб., 1996, 150 стр.

Литературный альманах.

**Олег Юрьев. Прогулки при полой луне.**

Спб., 1993, 144 стр. ПРОЗА.

**Олег Григорьев. Двустипшия, четверостишия и многостипшия.**

Спб., 1993, 124 стр. "XXX ЛЕТ".

**Ольга Мартынова. Сумасшедший кузнецик.**

Спб., 1993, 86 стр. СТИХИ.

**Сергей Вольф. Маленькие боги.**

Спб., 1993, 85 стр. СТИХИ.

**Дмитрий Закс. Agia d'acquaio и другие стихотворения.**

Спб., 1994, 102 стр. СТИХИ.

**Леонид Аронзон. Избранное.**

Спб., 1994, 102 стр. "XXX ЛЕТ".



*Издания, помеченные \*, за пределами бывшего СССР — только через книготорговую фирму Kibon & Sagner (Мюнхен). Остальные — также через издательство.*

## **КУБОН И ЗАГНЕР**

**МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ (МЮНХЕН)**

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА  
ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ**

### **КНИГИ**

по литературоведению и языкознанию  
по истории Восточной Европы  
по общегуманитарным дисциплинам  
художественная литература

*· справки о новых изданиях  
широкий выбор книг на складе  
антиквариат*

### **ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ**

*подписка издания прошлых лет  
газетный и журнальный антиквариат*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТТО ЗАГНЕР»  
VERLAG OTTO SAGNER**

*научные труды  
по славистике  
по истории культуры  
Восточной и Юго-Восточной Европы*

**Kubon & Sagner  
BUCHEXPORT-IMPORT GmbH**

**Hefstrasse 39/41  
80328 MÜNCHEN, BRD  
telefon: (089) 54218-0  
fax: (089) 54218-218**

В Вашу записную книжку



**ENGELS REISEN**

Телефон в Германии:

+49-69-82 32 75

Телефакс:

+49-69-88 79 46

Дешёвые авиабилеты

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ  
ИЗ ГЕРМАНИИ  
В ГОРОДА РОССИИ И СНГ  
АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
ПО ЕВРОПЕ

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СЛУЖБА  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ